

С.С. ЗАЯЦКИЙ

**ЖИЗНЕОПИСАНИЕ  
СТЕПАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА  
ЛОСОСИНОВА**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО

1 × 9 × 2 × 8

С. С. ЗАЯЦКИЙ

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ  
СТЕПАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА  
ЛОСОСИНОВА

\*

ТРАГИКОМИЧЕСКОЕ  
СОЧИНЕНИЕ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МОСКВА ★ 1928 ★ ЛЕНИНГРАД

Обложка работы  
Н. Д. ПРОХОРОВА

---



. X, 20. Гиз № 22764.  
Ленинградский Областлит № 51724  
11<sup>3</sup>/<sub>4</sub> л. Тираж 7.000.

## В МЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

### КТО ТАКОЙ СЕРГЕЙ ВАКХОВИЧ КУБИЧЕСКИЙ

Человек, написавший эту повесть, в настоящее время, повидимому, мертв. Странное произведение это в рукописном виде было найдено татаринном в кармане брюк покойного и любезно возвращено вдове. Будучи близким другом Сергея Вакховича, считаю себя в праве обнародовать эту повесть, тем более, что покойный (?) был человеком примечательным во многих отношениях.

К писательству он не имел особенной склонности, но то обстоятельство, что все его друзья и знакомые писали стихи так же хорошо, как Пушкин, навело его на мысль испытать и свои литературные способности. Решиться на это было ему не так-то легко, ибо с детства, по его словам, страх перед книгою носил у него болезненный характер. Читать чужие произведения можно было его заставить (и в зрелом возрасте) только силой.

Смерть Сергея Вакховича окутана некоторою таинственностью. Случилась она в то время, когда всякий слух мгновенно дробился как ракета, а о смерти дру-

зей и близких вообще мало думали. По одной версии погиб он, упав с крыши Народного комиссариата по просвещению, на которую взошел, исполняя снежную повинность. По другой версии он вовсе не умер, а, переехав границу в ящике из-под глюкозы, пропал без вести. Третья версия, которой придерживается вдова покойного, такова: садясь в поезд через окно, потерял он равновесие и вместо того, чтобы встать на ноги, встал на голову, и, не будучи в состоянии вследствие тесноты перевернуться вокруг горизонтальной оси, провел двое суток в столь неестественном положении.

Умирая, он будто бы еще успел крикнуть: «отношение мое к воинской повинности в правом кармане». Всего трагичнее во всей этой истории то, что поезд за эти двое суток так никуда и не сдвинулся.

Основную черту творчества Сергея Вакховича является его страстная любовь к психологическим наблюдениям, а также удивительное свойство описывать все так, что получается смешно. Сам он вовсе не хотел никого смешить и недаром в начале второй части повести (*perfectum*) он с горечью восклицает: «Смейтесь, ибо уж так устроены мы, что смешно нам то, что другим страшно или вдохновительно» и еще: «в смешном прозревать страшное достойнее, чем в страшном смешное». Потому и сочинение свое он назвал «трагикомическим».

Заметим, что «Жизнеописание Лососинова» он сам тайком считал научным психологическим трактатом и даже пытался прочесть его однажды на заседании Мос-

ковского психологического общества. Себя он любил называть «основателем учения о самозатруднении».

Так ли велики заслуги Сергея Вакховича перед наукою, предоставим судить ученым критикам.

---

## ВВЕДЕНИЕ

### О ПСИХОЛОГИИ, О ЕЕ МЕТОДАХ И ЕЕ ПОЛЬЗЕ

Удивительно, до чего русский народ склонен к философии; так склонен, как никакой другой народ, хоть и принято, чтобы все знаменитые философы были немцы.

Писатели тоже. Впрочем, писатели были еще в Англии. Но дело не в единицах, не, так сказать, в индивидах, а в массе. А где масса философична? В России. Например генералы. Я в дачном поезде встречался с одним генералом. То есть более мудроточивых уст в смысле поучительной беседы я не нашел бы ни у одного немецкого генерала, а говорят — немцы философы. Неправда. Кант немец, но философы русские. Помню мысли генерала о психологии. «Удивительная, говорит, вещь психология. Куда сложнее физиологии. В физиологии все, так сказать, доступно органам осязания, можно все потрогать со всех сторон, нос например. При изучении можно даже резать и ковырять и под микроскопом до малейшей клеточки. Один физиолог говорил, что ему даже обидно, до чего ему все понятно: слишком рано все выучил — не рассчитал — к сорока годам — всё! За новое приниматься

не стоит, свою науку прикончил, а умирать рано. Остаток жизни провел, предаваясь рыбной ловле. Со всем другое дело психология. Ничего не знают психологи. Что бы они ни толковали про интроспекцию (генерал так и сказал: «интроспекция», точно это какое-нибудь самое обыкновенное выражение, вроде: «молодцы-ребята»). Мельчайшего факта объяснить не умеют и никакие им институты не помогут, т. е. институты, разумеется, психологические. Взять хотя бы писательство. Ну в журналах за деньги с голодухи строчат, это понятно. Ну а богатые писатели или обеспеченные служебным окладом? Взять того же Пушкина. Много ли нажил? Гроши. Одни неприятности от высшего начальства, как явствует из биографии. Постоянный страх попасть на каторгу. Так для чего же он писал, спрашивается? Кажется, трудно ли было воздержаться? Перепрыгнуть через забор трудно, а не перепрыгнуть легко, так, кажется, просто: не прыгай и кончено. А он прыгал. Зачем? Выгод никаких, слава самая сомнительная при жизни, ну а после смерти что еще с нами будет, не известно, а если встать на точку эгоцентризма, то и вовсе. Но он писал, т. е., иными словами, затруднял себя и, принимая во внимание толщину академического издания, затруднял основательно. Ведь самый процесс труден, особенно при неровном почерке.

Помню, слова генерала крайне на меня подействовали. С тех пор как захочу написать что-нибудь, тотчас подумаю, что меня к этому побуждает, т. е. себя затруднять таким образом, и не пишу, а все думаю. Так мне генерал этот всегда в творчестве препятство-



вал, что трудно объяснить. Стал наблюдать за другими писателями из приятелей и, сознаюсь, необъяснимейшее явление: пишут все, а зачем пишут, — не знают, т. е. что их к этому побуждает. Психология — наука крайне щепетильная: спросить никак нельзя, зачем, мол, вы это писали, т. е. что побудило вас так затруднить себя,—неудобно. Приходится наблюдать. Наблюдение—один из методов. Я стал наблюдать. Наблюдал долго и вдруг понял — черту открыл в психологии. Формулировать могу так: «Человек (разумею: русский человек) имеет необычайную склонность к деятельности, направление и результаты коей ему безразличны». Например: Пушкин.

Итак: труд для человека (опять-таки русского) есть цель, а не средство.

Примечание: один ученый историк литературы возражал мне:

1) что Пушкин — не пример, ибо он в сущности араб;

2) что, имея склонности к светской жизни, он постоянно нуждался в деньгах. Возражу на это:

1) Если считать Пушкина арабом, то надо идти до конца и называть его уже не величайшим русским, а величайшим арабским поэтом.

2) Если не убедителен Пушкин (с его светскостью), беру гр. Толстого в последний период. В деньгах граф не нуждался, славе своей мог только повредить. Очевидно здесь мы имеем факт сознательного самозатруднения, в его, так сказать, первоначальной кристальности.

Эту же мысль доказать берусь с неопровержимостью на основании наблюдений, произведенных над близким приятелем моим (ныне погибшим) Степаном Александровичем Лососиновым. Для этого должен я изложить историю жизни моего друга вплоть до его гибели, выделив несколько замечательных событий из его биографии. Буду рад, если наблюдения мои окажутся полезны для процветания Московского психологического общества.

---



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ  
ДАВНОПРОШЕДШЕЕ  
(PLUSQUAMPERFECTUM)



## ГЛАВА I

### **В КОТОРОЙ ПОВЕСТВУЕТСЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ В ГОЛОВЕ ОДНОГО ГЕНИАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА ОДНОГО ГЕНИАЛЬНОГО ПЛАНА**

На всех часах вдоль линий «А» и «Б», на всех часах, хором тикающих в часовых магазинах, на левых руках всех прилично одетых прохожих, словом всюду, где только было возможно, стрелка указывала четыре часа, когда Степан Александрович Лососинов проснулся. С первого же взгляда он заметил, что стены и потолок в его комнате стали гораздо светлее, чем были накануне, а, взглянув в окно, понял и причину этого явления. Медленно и робко падали маленькие хлопья первого снега и устилали белою пеленою тротуары, тумбы, крыши. . . Степан Александрович откинулся было на подушке, дабы предаться размышлению об удивительном законе природы, меняющем ежегодно времена года, но тотчас же снова воспрянул и с изумлением оглядел комнату. Действительно, она представляла не совсем обычное зрелище.

Все предметы были сдвинуты в один угол и большая часть из них стояла вверх ногами. Громадное кожаное кресло возвышалось на письменном столе, а кисейные оконные занавески, подняв свои подола, словно сидели на подоконнике. Еще во сне Степана Александровича угнетал странный ритмический шум, казавшийся ему прибоем волн во время прилива. Теперь шум этот раздавался наяву в соседней комнате и от времени до времени кто-то стучал по самому низу двери. . . «Полотеры», с ужасом понял Лососинов. Подобное печеному яблоку лицо старухи заглянуло в комнату.

— Встали, батюшка, — сказала она, — вот слава-то тебе, господи.

— Какого чорта вы не разбудили меня раньше?

— Будила, батюшка, ей-богу будила. И шторку подняла. Ничего не получилось. . . Знать уши-то сном законопатило.

— Я свою комнату натирать не позволю!

— Нельзя, батюшка, пол совсем стал паршивый. . . Срам, а не пол.

Степан Александрович, не унижившись до возражений глупой бабе, встал с постели, запер дверь на ключ и глубоко задумался. . . Если бы в эту минуту посторонний наблюдатель мог следить за выражением его глаз, то он поразился бы, как все мудрее и проникновеннее становились эти глаза, немного, правда, опухшие от тринадцатичасового сна, но все же вдохновенные и прекрасные. В ночной рубашке, с ночной туфлюю в руке, он напоминал какого-то античного бога, а внезапно

поднявшаяся и устремившаяся в окно указующая рука завершила это сходство. В самое это мгновение стук, но уже не стук в самый низ двери, а европейское постукивание в ее середину привлекло его внимание. «Entrez» — крикнул Аполлон. «Заперто», — отвечал голос, в котором Степан Александрович узнал голос за-кадычного друга своего, Пантюши Соврищева. Пластич-ным движением он подошел к двери и повернул ключ. Пантюша Соврищев стоял на пороге, как всегда в ви-зитке, украшенный хризантемой и причесанный так гладко, что, глядя в его темя, можно было побрить себе физиономию.

— Здравствуй, — сказал Лососинов голосом, в кото-ром слышалась торжественная вибрация, — садись и от-вечай мне на вопрос: «как ты себе представляешь воз-рождение?» Впрочем, нет, не так, поди сюда!

Он подвел Соврищева к окну и указал на особняк апельсинового цвета с белыми колоннами, расположен-ный напротив. В окне был виден профиль вероятно хорошенькой горничной, что-то убиравшей.

— Она тебе нравится? — спросил Лососинов торже-ственно.

— Невредное бабцо, — отвечал Соврищев, — хотя всего не разглядишь.

Лососинов с досадой кинул ночную туфлю под кро-вать с такой силой, что под кроватью все зазвенело.

— Я не про то, — воскликнул он с раздражением, — я про колонну! Нравится тебе эта колонна?

— Нравится.

— И всегда будет нравиться?



— Вероятно всегда, — отвечал Соврищев, заметно ошеломленный таким оборотом беседы. Кстати, в это время горничная встала на подоконник и начала вытирать стекло тряпкой. Весьма уместно отметить удивительное свойство фартука. Генерал тоже неоднократно указывал, что фартук даже на магазинном манекене действует на него эротически.

— Да, — продолжал Лососинов, машинально почесывая свое бедро, — это всегда будет нравиться. Теперь.. знаешь, какая это колонна? Это колонна греческая.

С этими словами он посмотрел на приятеля своего с таким видом, с каким смотрит человек, объявляющий другому о полученном наследстве.

— Это значит, — произнес он, — что вечная красота была раз навсегда открыта эллинами и возрождение есть в сущности возвращение к древности.

— Поразительно! — воскликнул Соврищев, — мне никогда это не приходило в голову.

К чести Лососинова нужно сказать, что он весьма снисходительно относился к чужой необразованности. Прекрасная черта эта, без сомнения, была наследственной, так как отец Степана Александровича был в свое время небезызвестным профессором.

Не сделав Соврищеву никакого обидного замечания, Лососинов накинул себе на плечи одеяло, очевидно продрогнув, и сказал, продолжая глядеть в окно.

— Профессор Зелинский разделяет мои убеждения. Теперь слушай: возрождение необходимо, ибо искусство попало в тупик. . . Следовательно, наша задача — произвести возрождение. Для этого нужно лишь вне-

дрить в публику и в массу сознание необходимости изучения античного мира. Мужик гибок и способен к языкам. Надо обучить его греческому и латинскому... Я уже сделал кое-что, смотри.

Дрожащими от холода и волнения руками Лососинов взял со стола греко-латино-итальянский словарь со столь мелким шрифтом, что пользоваться книжкой было невозможно, даже если бы она была написана на русском.

— А ты разве знаешь итальянский? — спросил Соврищев, тоже начиная ощущать волнение.

— Итальянский не при чем, — с раздражением воскликнул Лососинов. — Мы пожмем руку Цицерону и Сенеке через голову непросвещенных теноров и шарманщиков. — С этими словами, не попадая зубом на зуб, Лососинов быстро юркнул под одеяло и с четверть часа лежал молча, дрожа как в лихорадке. Удивительное действие производил этот человек на окружающих. Соврищев внезапно почувствовал прилив силы, который раздвинул для него пределы возможного. «Захочу, — подумал он, — и начну читать Аристотеля как газету». Одним словом, в этой слегка уже затуманенной ранними сумерками комнате, в сердцах двух необыкновенных людей создалось то великое настроение, которое так лапидарно, хотя и грубо, характеризуется пословицею: пьяному море по колено.

— Ну, поедem к Сиу! — вдруг вскричал Лососинов. Он оделся с необыкновенной скоростью и через пять минут лихач с санями, украшенными Лососиновым и Соврищевым, мчался по занесенным снегом улицам.

Оба молчали, только когда проносились они мимо какого-нибудь дома с колоннами, Лососинов трогал Соврищева за рукав, кивал на дом и говорил: «нравится?». — «Да, — отвечал тот, глотая снежинки, — и всегда будет нравиться».

От Сиу они поехали в Прагу, из Праги в Балет, потом опять в Прагу. Далее Соврищев помнит лишь сплошную метель и какую-то яркую комнату, где была статуя Венеры, которая, впрочем, двигалась и даже пила водку. Проснулся он дома и когда начал одеваться, то с изумлением обнаружил, что один его чулок был ярко-зеленого цвета и, судя по длине, очевидно, дамский.

## ГЛАВА II.

### СПОР С ДЯДЕЙ. ОБСУЖДЕНИЕ ПЛАНА

Тихо все и бело стало в Москве. . . Уютно в домах, уютно на дворах, где примостились деревянные домики. Паркетные полы стали отливать лазурью и кисейные занавесочки на окнах еще посветлели.

Соврищев пришел к Лососинову ровно в пять часов и застал его в состоянии крайней экзальтации, близкой к вдохновению поэтическому.

— Ты помнишь тот словарь, который я показывал вчера и к чтению которого думал сегодня приступить?

— Помню, — отвечал Соврищев.

— Ну так этот словарь пропал, — крикнул Лососинов голосом величественным и радостным.

— Как пропал?

— Этот словарь украден.

— Кем?

Степан Александрович подошел к Пантюше, положил ему на плечи прекрасные свои руки и произнес с расстановкой:

— Полотерами.

— Ах, мерзавцы!

— Не мерзавцы, — крикнул Лососинов раздраженно, — а книголюбцы! Изучения античной древности возжаждали и украли словарь. . . Вот тебе подтверждение того, как относится русский народ к древности, разумеется, классической. . . Да тут ничего нет удивительного. В Москве есть извозчики, говорящие по-латыни. . .

Заметим себе, что гениальный ум Лососинова иногда делал слишком смелые выводы, как, например, в данном случае. Те индивидуы, о которых шла речь, очевидно, сначала изучили латинский язык, а потом стали извозчиками, а не наоборот.

— Да, что бы ни утверждали некоторые, время для филологизации Росси настало!

Под «некоторыми» Степан Александрович обычно разумел своего дядю, голос коего в это время явственно раздавался в столовой.

В нашем обществе распространено мнение, что все дяди глупы. Мнение это не основательно по двум причинам: 1) почти всякий человек является в то же время дядею и, следовательно, глупыми приходится называть почти всех людей; 2) дядя есть величина относительная, предполагающая племянника. Абсолютный

дядя есть понятие мнимое или столь редкое, что не стоит говорить о нем. Таким образом приведенное выше утверждение следует понимать так: всякий дядя глуп по отношению к племяннику и, по закону «действие равно противодействию», наоборот.<sup>1</sup> В данном случае дядя был инженером. Лососинов и его друг не любили дядю за мирозерцание, а Степан Александрович, кроме того, почитал его бездельником. «Построил три железнодорожных моста и очень доволен, — говорил он обычно про этого дядю, — а спросите его, что такое *conjugatio perifrastica*, он и не знает». В этот раз дядя был особенно неуместен, ибо он никак бы не мог понять чувств, волновавших предприимчивых физиологов да и вообще к искусству был равнодушен.

Как раз мадам Лососинова, старушка в наколке, рассказала за супом про встреченного ею на Кузнецком мосту раскрашенного футуриста в полосатом халате и разговор таким образом коснулся литературы. «Драть их нужно», — сказал дядя, разумея футуристов. Следует заметить, что Степан Александрович, сам не будучи футуристом, защищал их как искателей новых путей.

— И романтиков считали сумасшедшими, — воскликнул он. — А дикие гении? Почитай-ка биографию Гёте!

— Читал двадцать раз. И тоже нужно было выдрать.

— Это Гёте выдрать?

— А хоть бы и Гёте, да заодно и Шиллера. Терпеть не могу.

---

<sup>1</sup> Замечательно, что С. В. Кубический, высказывая это положение, разумеется, никоим образом не был знаком с теорией Эйнштейна.

— Уж выдрать тогда всех поэтов сразу.

— Да не мешало бы. Особенно теперешних. Раньше хоть прочтешь, поймешь, про что говорится. Иногда растрогает или развеселит. А теперь? Прочтешь стихи и такое чувство, точно тебя дураком обругали.

— Да уж, поэты! — вздохнула мадам Лососинова, — на заборах иной раз мальчишка постесняется написать, что они в книгах печатают.

— Да уж это само собой, — обрадовался дядя, — это, видите ли, разрешение проклятого вопроса. И все к тому же пьяницы.

— И Пушкин был пьяница.

— Пушкин, может быть, пил здорово, да зато здорово писал. А теперь пьют здорово, а пишут скверно.

— Вам не нравится, а другим нравится.

— Уж не знаю, кому это нравится. А теперь еще начали под греков подделываться. Куда ни сунешься, все козе на хвост наступишь.

Лососинов вспыхнул.

— Возрождение только и возможно при таких условиях, — сказал он, — одни ослы этого не понимают.

— Ну что мне за интерес про какого-то пастуха читать? Ах, Дафнис, да на тебе козьего сыру, да пойдем в пахнувший медом грот.

— И все про голых пишут, — ввернула мадам Лососинова.

— Вы бы уж лучше не вмешивались, — обернулся к матери Лососинов, — скоро голыми ходить будут, когда возрождение наступит.

— Это по морозу-то, — уязвил дядя.

Не снисходя до возражений, Степан Александрович погрузился в утоление своего аппетита, пробормотав что-то про идиотов, не видящих из-под железнодорожного моста неба. Следует заметить, что очень часто у Степана Александровича резко менялась точка зрения и он вдруг начинал говорить о пользе авиации или о своем желании стать химиком. Но в том-то и дело, что от богатой русской души нельзя требовать той мещанской уравновешенности, которая давала возможность Канту всю жизнь торчать в Кенигсберге, жуя вещи в себе. Характерно, что Лососинов считал Канта философом посредственным.

Хорошая сигара помогла Лососинову рассеять тяжелое впечатление от беседы с дядей, и, сев снова в свое кресло, он почувствовал себя господином своего настроения. Беседа лишь обострила его стремление.

— Нам нужно произвести нечто вроде революции, — сказал он. — Наши агенты должны исколесить всю Россию, внедряя в население любовь к античному миру. Вот план России. Нам необходимо иметь свои базы во всех крупных центрах. . . В провинции и в селах нужно организовать особые школы. . . Когда подготовка будет сделана, мы дадим знак из центра и по всей России зазвучит стройная музыка гомеровского стиха. . . Подумай, Соврицев, какое величие. . . Старый дед, читающий внукам Одиссея в подлиннике. . .

В этот момент, между прочим, Лососинов нашел словарь, который полагал украденным. Оказалось, что его подложили под книжный шкаф, дабы последний не качался. С негодованием вынув его и заменив сочине-

ниями Данилевского, Степан Александрович продолжал:

— Пока же мы оснуем в Москве нечто вроде Академии. Мы пригласим лекторов. . . Я лично уверен, что греческое искусство настолько божественно просто, что его поймет самый серый крестьянин.

— Кого же ты думаешь пригласить в лекторы? — спросил Соврищев.

— Во-первых, Ансельмия Петрова, без него нельзя. А потом всех профессоров, разумеется. Начнем с Петрова. Завтра без пяти двенадцать заходи за мной, мы к нему поедем.

Решив так, Степан Александрович и Соврищев поехали в Прагу. Оттуда они поехали в Оперу, потом опять в Прагу. Когда Соврищев проснулся было без пяти три, перед взором его лежала некая пелена, не вполне рассеянная и холодным умыванием. Одеваясь, он с изумлением нашел у себя в кармане вместо платка кусок кружевного пеньюара.

### ГЛАВА III

## **КАК СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛОСОСИНОВ И ПАНТЮША СОВРИЩЕВ ПОСЕТИЛИ ЗНАМЕНИТОГО АНСЕЛЬМИЯ ПЕТРОВА. РАССКАЗ ИЗВОЗЧИКА О ТАИНСТВЕННОМ БАРИНЕ**

По темнеющим улицам Москвы мчались санки, увенчанные необычайно толстым извозчиком и двумя борцами за греческое мирозерцание. Сами санки были до того узки, что, казалось, все сооружение лишь чудом



или благодаря некоему незримому жirosкопу сохраняет равновесие. Снег брызгал из-под полозьев, извозчик кричал «эй!» хриплым меццо-сопрано, а вокруг, у освещенных окон магазинов, кишела толпа, рябая от пурги. Соврищева укачивало мерное потряхивание саней, к тому же вчера он выпил большое количество Кипрского вина и благодаря этому до сих пор сохранял приятное отношение к жизни. Степан Александрович был, напротив, весьма мрачен. От свежего ли воздуха, или от каких-либо других причин, с ним сделался припадок икоты, изрядно его беспокоивший. Несколько раз пробовал он задержать дыхание, но каждый раз после этого икота возобновлялась с удесятеренной силой. Между прочим в первоначальный план было внесено некоторое изменение: решено было предварительно посетить известного знатока древнего мира и ученого, жившего как раз по дороге к знаменитому Ансельмию Петрову, так как посещение Ансельмия Петрова почему-то устрашало и Лососинова и его друга, и оба были рады оттянуть по возможности страшный миг. Приказав остановиться у двери знатока древнего мира, оба вылезли из саней, причем Лососинов, боясь припадка икоты, просил Соврищева беседовать с прислужниками.

Но у Пантюши Соврищева по совершенно неизвестной причине почему-то все время разъезжались ноги, так что извозчик даже принужден был вылезти из саней и подпереть его в спину.

В течение десяти минут они тщетно ожидали у запертой двери, пока не выяснилось, что Соврищев вместо

звонка давит в дощечку с фамилией знаменитого ученого. Недоразумение это, приведшее в глухую ярость Степана Александровича, почему-то сообщило неопишимо веселое настроение менее талантливому его спутнику, так что, когда почтенный слуга в очках открыл дверь, Соврищев хохоча не мог выговорить ни одного слова. Строго поглядев на него, старик повернул свое почтенное лицо в сторону Лососинова, вид коего безусловно внушал несравненно большее доверие.

Только-что затаив перед тем дыхание, тот внезапно икнул с такой силой, что Пантюша Соврищев, потеряв равновесие, упал навзничь, подмяв под себя извозчика, а лошадь, подумав, что ее понукают, помчалась, что есть силы, не управляемая никем, кроме чистейшего случая. К счастью, пробежав некоторую часть улицы, умное животное повернуло в ворота с синей вывеской «Трактир со двором для извозчиков», где остановилось, ржанием давая понять, что дальше итти не намерено. Здесь вскоре ее настигла группа, состоявшая из извозчика, Степана Александровича Лососинова, глазами мечущего грозные молнии, и Пантюши Соврищева, трясущегося от преступного при данных обстоятельствах хохота. Хохот этот очевидно привел в бешенство Лососинова, ибо, садясь в санки, он больно пихнул локтем своего друга и крикнул слово «балда». После этого он поднял воротник шубы и погрузился в мрачное раздумье, в коем и пребывал, пока санки не остановились у двери огромного дома, в одном из освещенных этажей которого жил великий философ, поэт и искусствовед Ансельмий Петров.

Дверь открыла очень толстая горничная, напоминающая бочку, одетую в фартук.

Мудрец, к счастью, оказался дома и на вопрос горничной: «по какому делу?», Лососинов величественно ответил: «переговорить». Горничная направилась в кабинет необыкновенного человека, причем, проходя мимо Пантюши Соврищева, она почему-то взвизгнула как от боли и ударила его по боку, словно защищаясь. Случай этот навел на высокое чело Степана Александровича тяжелые тучи.

— Если будешь дурить, убирайся к чорту, — пробормотал он, но Соврищев в ответ недоумевающе пожал плечами, как бы удивляясь поведением горничной. «Пожалуйста», — сказала та, сторонясь от Соврищева.

Кабинет величайшего ученого и поэта, кабинет, где создавались величайшие творения последнего десятилетия и где на критических булавках сидели как бабочки все величайшие писатели мировой литературы, кабинет этот имел вид значительный и потрясающий. Две стены его были сплошь уставлены книгами, третья представляла огромное окно, еще не задернутое шторой и трепещущее огнями города, а на четвертой висели картины знаменитых художников начала XX века, среди коих одна изображала нагую женщину, столь длиннорукую, что она могла бы, не сходя с места, смахивать пыль со всех предметов, находящихся в комнате. Посреди кабинета стоял стол непомерной величины, заваленный горами книг, бумаг, повесток и счетов. Бюст Гомера, приведший в волнение Лососинова,

вперял свой слепой взор прямо в книжный шкаф, словно искал в нем собрание своих сочинений.

Возле стола стоял человек, наружность которого являлась странным конгломератом портретов великих людей всех времен и народов. Повернется левой щекой — Гегель, правой — Гоголь, en face — Гёте, сзади вся немецкая школа романтиков. Это и был Ансельмий Петров, быть современником которого не казалось блаженством лишь непросвещенному кретину.

Ансельмий Петров встретил посетителей молча, молча оглядел их с ног до головы, поднял руку, но, когда Степан Александрович и Соврищев протянули свои, оказалось, что философ намеревался лишь почесать себе переносицу. После этого он засунул обе руки в карман и погрузился в кресло. Лососинов сел в другое кресло, стоявшее у боковой стенки письменного стола, так осторожно, точно садился на раскаленную жаровню; Соврищев же, не видя вблизи подходящей мебели, сел на пуф, стоявший в некотором отдалении.

Ансельмий Петров молча открыл ящик с папиросами, молча закурил одну, пустил облако дыма прямо в недоумевающее лицо Гомера и, откинувшись на спинку кресла, закрыл глаза.

После минуты жуткого молчания Степан Александрович заговорил. Сначала он стал говорить о древнем искусстве вообще, упомянул о Гомере, Фидии, коснулся Сафо и выразил свое восхищение перед Алкеем. Потом заговорил он о благотворном влиянии древнего искусства на итальянское, сослался на Зелинского и присовокупил, что и Ансельмий Петров сыграл в обла-

сти изучения древности великую и славную роль (при этих словах знаменитый писатель на секунду приоткрыл один глаз, но молчания и неподвижности не нарушил). Далее Лососинов заговорил о возрождении, указал на футуризм как на ложный путь, ехидно уколос Маринетти, упомянул о подражании древним и наконец заговорил об Академии по классическому искусству, причем от волнения сбился и вместо того, чтобы сказать: мы основатели Академии классических наук, сказал: мы основатели Академии наук. Далее, все больше и больше воодушевляясь, Степан Александрович заговорил о гибкости души русского человека. Смущения его как не бывало, он протянул даже руку к папиросному ящику, но Ансельмий Петров, чуть приоткрыв глаза, переставил его на самый отдаленный угол письменного стола. Наконец заметно стало, что гениальный искатель высказал все, что больше объяснять нечего. Он еще раз упомянул о Праксителе, о Пиндаре и наконец умолк, вопросительно глядя на сидевшую перед ним живую совокупность портретов великих людей всех времен и народов. Ансельмий Петров продолжал сидеть неподвижно с закрытыми глазами. Соврищев, тихонько встав с своего пуфа, подмигнул Лососинову, давая понять, что он подозревает, не заснул ли удивительный человек, и, выдернув из визитки конский волос, к ужасу Степана Александровича возымел намерение пощекотать нос спящего. Но Ансельмий Петров открыл оба глаза и так внезапно, что Пантюша Соврищев сел мимо пуфа, а Степан Александрович икнул во все горло.

— А сколько вы будете платить за лекцию? — спросил мудрец резким голосом, который можно было принять за крик павлина.

Лососинов растерялся. Он не ожидал такого вопроса.

— А сколько вы пожелаете? — пробормотал он, машинально щупая карман.

— Двадцать пять рублей час, для цикловых лекций скидка десять процентов.

— Хорошо, мы согласны, — отвечал Степан Александрович, оправившись.

— Адрес?

— Мы еще точно не выяснили... мы вам позвоним по телефону.

— Вы ведь нам продиктуете свой телефон? — спросил Соврищев, чтоб проявить свое участие в этом деле, но Лососинов строго поглядел на друга, благоразумию коего не доверял.

— А когда бы вы могли начать? — спросил он.

— После завтра от десяти до одиннадцати первая лекция. Но я беру вперед за десять.

Лососинов сперва побледнел, потом покраснел, потом полез в карман.

— Боюсь, в данную минуту не найдется такой суммы, — пробормотал он, — у тебя нет?

Вместе они набрали сто восемьдесят три рубля шестьдесят четыре копейки, каковую сумму и вручили поэту..

— Остальные шестьдесят шесть рублей тридцать шесть копеек можете прислать завтра утром, — сказал тот, пощелкав на счетах.

— А какую тему вы намерены... использовать? — уже совсем робко спросил Лососинов, вставая так осторожно, словно он опасался, не прилип ли он к креслу.

— Альфред де Виньи и его влияние на современное ему общество.

Великий писатель подошел к двери своего кабинета, распахнул ее и молча посмотрел на стену сквозь своих посетителей.

Крадучись, стараясь не шуметь, словно боясь спугнуть невидимую музу, вышли они из обители вдохновения и мудрости. Только попав в переднюю, Степан Александрович настолько оправился, что смог посмотреть на себя в зеркало. Лицо его было бледно и глаза блестели как две звезды. Когда он выходил на лестницу, сзади него раздался звук, который производят в отверстии ванны последние капли спускаемой воды. Мгновенно вслед за этим послышался глухой удар, как бы при выколачивании мебели, и Соврищев так стремительно вылетел из двери, что оба они едва не скатились с лестницы.

— Что же мы предпримем теперь? — спросил Соврищев с некоторою робостью в голосе, когда они снова очутились в узких санках, лишь чудом сохраняющих равновесие. Степан Александрович ничего не ответил, и его вновь возобновившаяся икота на этот раз звучала подобно грому, не предвещавшему ничего доброго.

— Может быть, съездить еще к какому-нибудь профессору, — продолжал Соврищев, стараясь придать тону глубину и проникновенность, — вот только денег у нас не осталось.

В этот момент извозчик внезапно обернул свое извозчиье лицо к седокам, посмотрел на них с интересом и вдруг спросил:

— А что, барин, чорт есть?

Вопрос этот был совершенно неожидан и поставил в тупик обоих филологов, не сильных к тому же в вопросах умозрительных.

— Чорт, говорю, есть? — снова повторил извозчик.

— Как когда, — заметил Соврищев.

Лососинов вдруг опустил поднятый до этого времени воротник шубы, движением руки заставил умолкнуть своего спутника и сказал взволнованно:

— Чорта нет... а есть бессмертные боги.

Извозчик с любопытством обернулся к нему.

— Какие же такие, барин, боги?

— Зевс олимпийский, громовержец, его же иногда называют Дий. Феб или Аполлон, бог солнца и поэзии, Афродита богиня любви, она же Киприда...

— Киприда? — переспросил извозчик. — Баба, значит?

— Да... женщина... Она не одна... Есть еще Гера, Гейя, Гекуба... т. е. не Гекуба, нет впрочем Гекуба...

— Гм. Мудрено что-то... — извозчик был как-будто не вполне удовлетворен. — Чорт-то есть али нет? — спросил он снова.

— Чорта, собственно говоря, нет, но есть боги благожелательные к человеку, а есть неблагожелательные.

— Нет это ты, барин, все не то говоришь, — после некоторого раздумья произнес извозчик, — чорт есть... это я тебе откровенно говорю.



Он обернулся совсем к своим седокам.

— Я его, чорта-то, вчера сь катаю, не к ночи будь помянут. — Сказав так, извозчик внезапно встал, хлестнул раза три лошадь по животу и по обоим бокам, затем сел и, не обращая на нее больше никакого внимания, повернувшись к Степану Александровичу, начал рассказывать.

— Нанял меня вчера на Покровке барин, такой из себя ласковый, в шапочке. . . — «Вы, говорит, извозчик, свободны?» — «Свободен, говорю, пожалуйста». — «Сколько вы, говорит, с меня возьмете на Плющиху? . . .» — Я-то вежливых господ не больно обожаю. . . коли вежлив, стало быть, денег мало, куражиться не с чего. . . Только этот вижу не из таких. . . — «Пожалуйста, говорю, ваше сиятельство, чай не обидите бедного человека». — «Нет уж вы, говорит, лучше скажите. . .» — «Целковый, говорю, дадите и ладно». — Сел, хуч бы что. . . Я ему полость застегнуть хотел. . . — «Не беспокойтесь, говорит, извозчик, я сам. . .» — Ну сам, так сам. . . — «Вы, говорит, и так трудитесь в поте лица, а я, говорит, у родителей на иждивении. . . Мне, говорит, вам помогать надо. . . вы, говорит, рабочий, а я буржуаз. . .» — Я ухо остро. . . Коли про рабочих заговорил — шабаш, — не заплатит. . . Много я таких перевозил. . . Я ему эдак осторожно говорю: «ежели, говорю, барин, есть у вас деньги и слава богу. . . Побольше на извозчиках катайтесь. . .» — «Я и то, говорит, катаюсь», — а у самого на глазах слезы. . . — «Мы, говорит, с вами, извозчик, оба люди, значит равны, говорит, а вот вы бедный, а я

богатый... И так это мне, говорит, обидно...» — Вижу малый лапшистый. — «Чего, говорю, обижаться-то... Прибавьте двугривенный да и ладно...» — «Я вам, говорит, извозчик, тридцать копеек прибавлю...» — «Спасибо, говорю, ваше сиятельство, наградили бедного человека...» — Помолчал он да вдруг и говорит. — «Вы, говорит, извозчик, меня сиятельством не называйте... Я, говорит, за революцию стою и мне это очень неприятно...» — Неприятно, не надо. Мое дело сторона... Только едем это мы мимо большого дома на Арбате... — «Остановитесь, говорит, тут на минутку, мне, говорит, тут к товарищу зайти надо... Я вам, говорит, за это еще прибавлю...» — Подождем... Авось, думаю, через зады не сиганешь... Время вечернее, холодное... Метет во всю... Глаза залепляет. Не заснуть бы только, думаю... И вдруг грезится мне родитель покойный... Подходит будто ко мне так со скорбью. — «Не знал, говорит, Митрий, что ты чорту душу продал...» — «Не продавал, говорю, души, это, говорю, вы, батюшка, меня напрасно...» — А тот все головой качает... Только вот, слышу, сел мой барин в санки... Тронул я лошадь, подъезжаем к Смоленскому, я, значит, на Плющиху ловчусь, а он вдруг как крикнет: «нешто я тебя на Плющиху нанимал, шут гороховый? Пошел по Сенной... Сволочь...» — Я оглянулся — темень... Я и говорю: — «как же, говорю, вы, сударь, за революцию стоите, а так лаетесь», а он вдруг как гаркнет: «это я-то за революцию стою», да как меня по уху раз... Обернулся я, а тут как раз к фонарю подъехали, —

батюшки. . . Усища в три аршина. . . Глазища выпучил. . . «Я, говорит, тебя за такие речи в каторгу зака-таю. . .» — Тут-то я и смекнул, кто меня на Покровке-то нанимал. . .

— Кто же? — спросил Лососинов.

— Известно кто — неумытый. . .

В это время оба собеседника посмотрели по сторонам и замерли от удивления. . . Кругом, тая во мраке, расстилалась необъятная снежная равнина. . . Луна насмешливо улыбалась темной земле. Москвы как не бывало.

— Ишь ты, — пробормотал извозчик, — никак мы за Дорогомиловскую заставу выехали. . . Господи, твоя воля. . . Навождение дьявольское.

— Чего ж ты смотришь?! — воскликнул Лососинов, приходя в крайнее раздражение. — Куда ты нас завез?. .

Он посмотрел на своего спутника. Тот мирно спал, придав телу почти горизонтальное положение, и Степан Александрович с негодованием заметил, что шапки на нем не было.

#### ГЛАВА IV

### ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ. ЛЕГЕНДА О ЖЕСТОКОМ РЫЦАРЕ. ДАМА В ПЕНСНЭ И БАРЫШНЯ БЕЗ ПЕНСНЭ

Как странно, как удивительно странно создана душа человеческая. . . То, перед чем она сегодня преклонялась с елейным благоговением, завтра мнится ей черною суетой дьявольской, то, что любила — ненавидит, что чтила — презирает. . . Как изучить душу? Как уместить

великий ее простор в тесные границы переплетает? . . . Стократ прав был генерал, почитая психологию за науку труднейшую.

После всех приключений прошлого дня почувствовал Соврищев в душе некоторую тоску, которую вполне мог бы он назвать мукою беспокойной совести. . . «Вот он, — думал он про Лососинова, — он печется о науках и искусствах. Неустанно тревожим он заботами о распространении на Руси великого классического знания. . . А я? Что я перед ним?» И, руководимый подобными мыслями, Соврищев поплелся на Моховую, к знакомому букинисту, обладавшему удивительной способностью покупать и продавать книги, читать каковые никому никогда не приходило в голову. В этот раз Соврищеву особенно повезло, ибо букинист только-что откопал в груде старых книг, наполовину съеденных мышами, греко-персидский словарь XVI века, напечатанный весьма мелким и витиеватым шрифтом, кое-где истертым рукою времени. Полагая, что такая книжка окажется весьма ценной для процветания академии и радуясь подобной благоразумной выходкой заглазить вчерашнее неблагоразумие, Соврищев купил словарь в долг и быстро направился к Лососинову.

Но, о душа, непостижимы твои глубины! Степан Александрович осмотрел книгу с каким-то отвращением. . .

— Что это за рухлядь ты притащил? — спросил он презрительно.

И тут только Соврищев заметил, что весь письменный стол Степана Александровича был завален автомобильными каталогами. Один из них с огромною шиной

в виде восходящего солнца, был подперт широким лбом Сенеки.

— Любишь ли ты, Соврищев, — произнес мечтательно Лососинов, — стук мотора, когда белая дорога извивается перед тобой среди виноградников, а хорошенькие торговки, спешащие в город, сторонятся со смехом от рокочущего чудовища?

— Люблю, — отвечал Пантюша Соврищев, вдруг вспомнив, какие ножки встречаются иногда в низших слоях населения.

— Подумать, — продолжал Лососинов и глубокую скорбь изобразило величественное лицо его, — что у нас в России до сих пор нет приличного завода для производства двигателей внутреннего сгорания!

Тут, сев в кресло, прочел он целую лекцию о бензине, с презрением отзываясь о паровых машинах, и отнесся с сомнением к будущему царству электричества. Вынул из кармана зажигалку и зажег в доказательство того, что бензин горюч. Изображая поршень, проткнул тросточкою обивку дивана, наконец вызвал из ближайшего гаража автомобиль, велел возить себя и Соврищева по городу и с ласковой улыбкой прислушивался к стуку мотора... Чувствовалось, что если подобное умонастроение Степана Александровича не получит внезапного уклонения, то существованию классической академии, а следовательно и всему Государству Российскому будет нанесен великий ущерб.

В одной старой книжке читал я однажды легенду. В некоем замке, стоящем над бездною, на весьма кру-

той и неудобной для пешеходов скале, жил барон, отличавшийся неимоверною злобою, которую срывал он не только на своих слугах и родственниках, но и на беззащитных животных. . . Не бывало случая, чтобы, встретив на дороге корову, рыцарь отказал себе в удовольствии засунуть шпагу ей в бок или чтобы, поймав кошку, не привязал он ее за хвост к длинной бечевке и не начал бы раскачивать в таком виде над бездною. Оторвать голову курице или цесарке было для барона забавой почти ежеминутной. . . Молва о жестокости феодала расползлась по долинам вместе с ужами и медянками, и люди избегали попадаться на глаза рыцарю, не желая послужить ему случайным предметом для развлечения.

Годы шли и родные барона тщетно ломали себе голову, стараясь уяснить себе причину подобного его умонастроения. Приглашенные мудрецы ничего не смогли дать им, кроме совета держать ухо востро и не попадаться слишком часто на глаза ожесточившемуся рыцарю, что они, конечно, и без того делали. . . Однажды гулял рыцарь со своим пажом по берегу реки столь же бурливой, сколь узкой, и обмахивал себя широкой шляпой с пером, так как день был жаркий. . . Перед этим он только-что отхватил голову овце, пасшейся на лужайке, и жестокость его теперь изыскивала себе нового применения. Вдруг глаза его уставились в одну точку, приняли выражение глубочайшего удивления, граничащего с ужасом, и, вперив в ту же самую точку указательный перст правой руки, закричал он:

— Что это такое?

Паж глянул по указанному направлению и обомлел: прекрасная дама, стоя на берегу, делала все попытки искупаться в реке, причем золоченая карета ее со стыдливо отвернувшимся возницей стояла тут же на зеленом холме.

— Что это? — повторил барон, не опуская перста.

— Это дама, о благородный барон, — отвечал паж, дрожа от страха за несчастную, а к стати и за себя.

— Да, но что же это такое?—продолжал восклицать рыцарь. Он подошел ближе к незнакомке, которая в это время уничтожила последнюю преграду между собою и солнечными лучами, внезапно упал на колени и, будто ослепленный сиянием, закрылся епанчею. Когда он встал, лицо его было светло и умильно. Подойдя к красавице, которая между тем с перепугу влезла в воду, он любезно пригласил ее обедать в свой замок и предлагал ей немедленно перестать купаться, не понимая, что заставляет ее сидеть в воде столь долгое время. Красавице с трудом удалось убедить его обождать в карете, что он наконец и сделал, дав ей таким образом возможность одеться, не нарушая требований целомудрия. Возвращаясь в свой замок в карете, барон слегка обнимал стан дамы и все время умолял кучера не стегать бедных лошадей, а при встрече со стадом не только не сделал попытки проткнуть корову шпалгой, но, протянув из окна руку, ласково потрепал ближайших животных. Такова, заканчивает легенда, удивительная сила женского влияния. Вследствие странного стечения обстоятельств барон с детства не только

не видел женщин, но даже не подозревал об их существовании, что было совершенно упущено из вида его родственниками. Первая же встреча с женщиной превратила кровожадного льва в ласкового теленка.

Весьма возможно, что мятежный гений Степана Александровича так бы навсегда и променял сладкозвучную музыку гексаметра на однообразное постукивание машины, если бы на свете не царствовал случай и слугами его не были две женщины равно прелестные, отличавшиеся друг от друга лишь цветом волос и посторонним признаком в виде пенснэ, которым носик одной был украшен. Впрочем кроме различия физического между ними было различие и духовное: одна была дамой, другая барышней. Дама в пенснэ была брюнеткой и звалась Ниной Петровной, а барышня без пенснэ была блондинкой и звалась Лиля (несколько вольное сокращение полного имени Зинаида).

Две феи эти стояли на углу Арбата и площади и, размахивая руками, приглашали остановить автомобиль, в котором ехали Лососинов и Соврищев. Оба немедленно отпустили бездушную машину и пошли по Арбату, слегка поддерживая скользящих женщин.

— Степан Александрович, — воскликнула Нина Петровна, тщетно управляя ботиками, — какой вы злой. . . вы совсем, совсем злой и противный и я вас больше не люблю. . . Я и своему Пете вчера сказала: ты знаешь, Петя, я больше совсем не люблю Степана Александровича — он злой и нехороший. Он основал какую-то латинскую академию и нам ни слова. . . А Петя так чудно знает латинский. . . Он очень обиделся. . . Когда



он начинает болтать по-латыни, прямо ничего не поймешь. . . Омус, гомус, мендум, прендум. . . Ах!

Она замерла и, многозначительно приложив палец к губам, кивнула Лиле на бельевую витрину, ярко освещенную среди мрака зимних сумерек.

— Не смотрите, это не для вас, — крикнула она обоим мужчинам, — вы всегда рады смотреть на то, что вам не полагается. . . Значит, латинская академия. . . Я хочу обязательно записаться. . . Какая плата? Танцы будут? . . . Это будет чудно! . . . Ко мне ужасно идет туника. . .

— Не туника идет к вам, а вы идете к тунике, — возразил Степан Александрович, вежливость которого в обращении с женщинами не знала пределов.

— Какой скверный лгун. . . я такая некрасивая. . . Ах, как я завидую Лиле. . . она такая хорошенькая. . . Когда же бал в Академии?

Степан Александрович, понимая, что поэтический ум его дамы не способен будет оценить по достоинству двигателя внутреннего сгорания или истолкует этот термин в желательном для себя романтическом смысле, внезапно опять был охвачен прежней своей идеей и с таким жаром стал объяснять преимущества древнего мира, что проходивший мимо пес, думая, что его дразнят, из осторожности залаял на Степана Александровича.

Муж Нины Петровны был добродушным человеком, занимавшимся собиранием слонов. Десятки фарфоровых, металлических, стеклянных, замшевых слонов, больших и маленьких, стояли всюду, услаждая взор

своего хозяина, который не находил лучшего удовольствия, как целый день переставлять их с места на место. Другим ценным качеством этого человека было полное отсутствие ревности, доходившее до того, что, когда он заставлял свою супругу в чьих-нибудь объятиях, он говорил обычно: «я ведь сейчас опять уйду». И действительно уходил, из деликатности переставив с места на место какого-нибудь слона. Идея Академии ему весьма понравилась. Он предложил взять эмблему слона, держащего в хоботе книгу с надписью «Илиада» или что-нибудь в этом роде. Лососинов с ним согласился, указав, что слоны упоминаются у Плутарха и у Тита Ливия. . .

Накрытый и блистающий серебром стол, нежный аромат, исходящий очевидно от волос Нины Петровны, и полное отсутствие ревности у ее супруга привели Степана Александровича в состояние экзальтированное, чему способствовало и отсутствие Соврищева, который, кстати сказать, исчез с Лилей еще по дороге. . .

Было решено, с согласия мужа, что Нина Петровна примет участие в филологизации народных масс, для какой цели ею были испрошены у супруга средства на костюм музы, обдуманый тут же за обедом и долженствовавший быть одинаково привлекательным и для изысканного взора филолога и для подслеповатого великорусского пахаря.

Таким образом, инициативная группа по филологизации определилась из председателя — Степана Александровича Лососинова, секретаря — Пантюши Соври-

щева и действительных членов — Нины Петровны и Лили. Согласие Лили было предусмотрено заранее, ибо до сего времени не было случая, чтобы симпатичная девушка эта от чего-либо отказалась. Муж Нины Петровны в эту группу не вошел, но в виде компенсации ему было предложено приобрести большого слона, который стоял бы постоянно на столе президиума. Тут же было написано письмо Ансельмию Петрову, приглашавшее его прочесть первую лекцию на следующий день в десять часов утра в доме Нины Петровны. Правда, это был ранний час, но Нина Петровна решила немедленно начать вести спартанский образ жизни и весьма удивила повара, приказав ему отныне готовить к обеду и к завтраку одну чечевицу.

## ГЛАВА V

### **СТОП МАШИНА! ПРОБЕЛ В РУКОПИСИ. НЕОЖИДАННОЕ СОБЫТИЕ**

Если читатель ждет, что на следующий день ровно в десять часов состоялась первая лекция великого поэта, мыслителя и искусствоведа Ансельмия Петрова, что Нина Петровна с наслаждением скушала свою чечевицу, а Степан Александрович в сотрудничестве с Соврищевым приступил к составлению академического устава, — то, смею сказать словами генерала, читатель этот никогда не изучал психологии. В том-то и дело, что здесь мы сталкиваемся с наиболее тонким в области переживаний души явлением, которое генерал предлагал называть не совсем удачно «стоп машина»,

и которое является естественным следствием из первоначального положения: труд для русского человека есть цель, а не средство.

Во-первых, письмо по каким-то совершенно непонятным причинам так и не было доставлено Ансельмию Петрову, во-вторых, даже если бы оно было доставлено, ничего бы не вышло, так как в десять часов все еще мирно спали в доме Нины Петровны. Повар, вместо чечевицы, приготовил опять-таки по неизвестным соображениям паровую осетрину, за что не получил никакого замечания, а Степан Александрович Лососинов, заехав часов в пять к Нине Петровне на чашку чая, ни словом не обмолвился о вчерашних планах, говорить о которых не собиралась видимо и Нина Петровна. Пантюша Соврищев и Лиля вообще временно исчезли с горизонта, избирая для своих прогулок отдаленнейшие переулки Замоскворечья, и только муж Нины Петровны купил-таки огромного фаянсового слона с клыками в виде электрических лампочек. Бестактный поступок этот несомненно указывал на нетонкость душевной организации этого человека, и к его покупке отнеслись весьма сдержанно.

---

Здесь, к сожалению, в рукописи покойного Кубического наступает значительный пробел. По некоторым отрывкам можно догадаться, что мятежный ум Степана Александровича после направлял свою пытливость во всевозможные направления, до выделывания картонных коробочек включительно. К мысли об основании

Академии Классических Наук возвращается он спустя лишь несколько месяцев, уже среди лета, когда, приехав из деревни на несколько дней в Москву, он случайно встретил на Петровке Пантюшу Соврищева. Почему возникла вновь в его голове забытая было идея, сказать трудно, хотя вероятно покойный Кубический не оставил без объяснения этого важного в психологическом отношении факта. Ясно одно, что прежние стремления охватили его с такой силой, что, пишет Кубический, «идя по Кузнецкому, он к изумлению прохожих выкрикивал целые стихи из Энеиды».

Весь день Степан Александрович провел в пустой своей квартире, работая над составлением устава, который Пантюша Соврищев писал под его диктовку, во время пауз весьма ловко прокалывая пером мух. Странно было возобновлять мечты, порожденные зимними сумерками в этой, погруженной в летний сон, комнате. Майские газеты покрывали столы и зеркала, сухой стебель фиалки сох в безводной вазочке, люстры в белых мешках напоминали средневековых висельников. Но мысль, что теперь, летом, можно непосредственно приступить к распространению среди крестьян любви к античному миру, так вдохновляла Степан Александровича, что уже ничто не могло остановить его мыслей, извергавшихся из головы подобно лаве. Вечером, дабы несколько рассеяться и не сойти с ума от чрезмерного напряжения мысли, филологи поехали к Зону, где спустились в так называемый «ад», причем Лососинов тонко сравнил себя с Вергилием, а Соврищева с Данте. Они выпили большое количество вина, а ровно в пол-

ночь какой-то высокий мужчина подошел к ним с бутылкой ликера в руках, вылил ее содержимое Пантюше Соврищеву за воротник, а пустую бутылкою ударил Степана Александровича по голове с такой силой, что тот потерял сознание.

Проснувшись на другое утро, Лосошинов услышал странный шум, который сперва объяснил признаками субъективного свойства. Однако, прислушавшись, он с несомненностью понял, что шум этот доносился извне, а, подойдя к окну, увидел на улице странное волнение. Не одеваясь, так как в квартире никого не было, кроме одной старухи, он приотворил дверь на лестницу и спросил швейцара о причине шума и волнения.

Швейцар сообщил ему, что Германия объявила войну России.

---



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПРОШЕДШЕЕ СОВЕРШЕННОЕ

(PERFECTUM)





## ГЛАВА I

### ВЕЛИКАЯ СУМАТОХА

Я не психолог в образованном смысле этого слова, да по правде говоря (на это я и в первой части указывал) — не особенно об этом сожалею. Ученые психологи по большей части ничего объяснить не умеют (т. е. в области своей науки, разумеется). Утверждают, например, что цвета у нас в глазу, на какой-то там радужной оболочке (не слишком ли вы сами радужно настроены, господа психологи)? Ну, предположим, что в глазу. Вот когда случилась революция, я и спросил одного профессора: «чего вы, говорю, собственно красных флагов боитесь, ведь они у вас в глазу». Смутился и сам покраснел вроде флага. То-то и оно-то. Впрочем, забегаю. . . Но если трудно объяснить психологию, так сказать, индивидуальную, то что же сказать о психологии масс. . . Почему, например, накануне объявления нам Германией мировой войны можно было без всякого затруднения сесть в трамвай, ну, скажем, номер четвертый, и проехать — сидя проехать, как следует от самых Сокольников до Дорогомиловского вок-

зала, и почему через какие-нибудь двадцать четыре часа после вручения нашему послу каких-то там зарубежных паспортов, в тот же трамвай номер четвертый сесть не было уже никакой физической возможности? Скажут, при чем тут психология? Люди, мол, бежали, спасали детей и имущество. Извините! На трамвае имущества не спасешь, да и не было причин жителю Сокольников спасаться в Дорогомилове. Ну-ка, господа психологи! Вот вам маленький фактик, так сказать, в пределах городских железных дорог. Объясните-ка! Не можете? А генерал сразу объяснил: «это, говорит, мобилизация духа». Скушали!?

О, если проживу я подобно патриарху библии до тысячи лет, то и тогда не забуду тех великих дней, когда опустели вдруг все дома, и все миллионное население Москвы бросилось куда-то, сломя голову, и когда все, как один человек, от старого знаменитого мужа, убеленного мудростью, до какого-нибудь оборванного мальчишки, прицепившегося к извозчичьей пролетке, говорили себе: «Славянские ль ручьи сольются в русском море, оно ль иссякнет? Вот вопрос».

Я видел старушку, несшую куда-то жертвовать древние рубли времен первого Николая, я видел, как безрукий старик с георгиевским крестом на груди останавливал на улице генералов и говорил: ваше превосходительство, когда прикажете выступать, и генералы обнимали его и плакали. Смейтесь, ибо, может быть, это в самом деле смешно, смейтесь, ибо уж так устроены мы, что смешно нам то, что другим страшно или вдохновительно. Смейтесь теперь, когда обруши-

лись на нас Карпатские горы и по всему миру разлетелась на куски разорванная Россия и когда каждый кусок ползет как живой, чтоб снова сложилась — из кусков сложилась — красная свитка... Но довольно! Плотиною преграждаю поток патетической речи и вновь перехожу на тон обычный, ибо в смешном видеть страшное достойнее, чем в страшное смешное...

---

Степан Александрович Лососинов, узнав от швейцара о происшедшей в мире катастрофе, начал немедленно одеваться, причем, как он впоследствии рассказывал, так волновался, что всунул левую ногу в правую штанину и едва в таком виде не вышел на улицу. Завязывая галстук, он услышал торжественные звуки. Прислушавшись, он понял, что это во всех квартирах, сверху, снизу, сбоку, исполняется на рояле русский гимн.

Тогда он выбежал на улицу и замер, потрясенный. Трехцветные знамена плескались в ясной лазури золотого июльского дня. Люди брели сплошной стеною, причем на лицах их было такое счастливое выражение, что, казалось, каждый из них только-что выиграл двести тысяч и теперь гуляет, размышляя, как лучше использовать деньги. Пользуясь добродушием взрослых, дети невыносимо шалили. Они прикалывали прохожим к спинам бумажные ленты, рисовали на каретах и автомобилях Вильгельма, неистово трубили и свистели в дудки.

Всякий человек, имевший на себе хоть какой-нибудь признак формы, хоть какую-нибудь форменную пуговичку или кокардочку, мгновенно делался предметом восторженного поклонения. Молодые люди из хороших семей, накануне еще считавшие особым шиком трясти головою и волочить ногу, как паралитики, теперь, напротив, шли, выпятив грудь и подняв плечи до уровня ушей, и имели такой вид, как будто в первый раз в жизни надели пиджак. Здороваясь, они говорили: «здравия желаю», прощаясь: «честь имею кланяться», а в разговор ввертывали фразы: «фу, чорт, штатский ногу отдал» или «вон идет драгун его величества, хорроший полк!».

Степан Александрович вдруг почувствовал, что соломенная шляпа как-то не помещается у него на голове. Она сползала то на затылок, то на бок, то наползала чуть-ли не на брови, то вдруг грозила улететь и броситься прямо под трамвай, то сдавливала голову железными тисками. В то же время Степан Александрович почувствовал, что ноги его сами собою пошли в такт, и в то же время вблизи грянул марш. Но заметьте, он ясно помнит, что не ноги пошли за маршем, а марш за ногами. Не будучи в силах выдержать, он зашел в шляпный магазин. Все приказчики стояли в дверях, глядя на приближающийся полк, никто и не подумал о том, чтобы заняться с покупателем. Полк прошел, гремя и блистая трубами и — ах, как прекрасен и героичен был ехавший впереди юный, безусый офицер. Букетик васильков просинел в воздухе и повис у него на груди, зацепившись случайно за

позумент. Это был как бы материальный знак охватившего толпу восторга. Не успел офицер опомниться, как такие же букетики повисли у него на шпорах, на пуговицах рукавов, на хвосте его коня. Торговка не успела получать гривенники, да многие и забывали платить ей. Какой-то старик, прижатый к стене, кричал: «Бельгию! Бельгию!» Никто не понял, что хотел он этим сказать, но многие тоже закричали «Бельгию!» И это так понравилось, что скоро уже все кричали «Бельгию!» И Степан Александрович, когда пришел в себя, понял вдруг, что он вот уже пять минут тоже кричит «Бельгию!»

— У вас есть солдатская фуражка? — спросил он подошедшего к нему хозяина магазина.

— Извольте-с... Заговоренные... Берут вас?

— Нет, я иду добровольно!

И тут заметил Степан Александрович, что карман его вырезан и все его содержимое исчезло безвозвратно.

— Не беспокойтесь, — сказал хозяин: — мы с патриотов денег не берем.

И Степан Александрович ушел в фуражке, подарив ему на память соломенную шляпу. Теперь голова его обрела свое спокойствие, словно кончилась злая мигрень под благотворным действием некоего пирамидона.

Соврищев жил в тихом переулке. Горничная, открывшая дверь, имела вид заспанный.

— Барин дома? — спросил Лососинов, без надежды получить утвердительный ответ. Горничная бессмыс-

ленно посмотрела на него и удалилась, ничего не отвечая, словно сомнамбула.

— Что за чорт? — подумал Лососинов, — или она с ума сошла от войны?

Степан Александрович вошел в комнату Соврищева, дабы оставить ему записку, и замер от удивления. В комнате царил уютный полумрак, было душно и пахло давно и крепко спящим человеком; вывороченный пиджак валялся на полу, смешно взмахнув пустым рукавом, белье лежало на письменном столе, один носок был завязан на свечке неуклюжим бантиком. Сам обитатель этой комнаты спал, раскинувшись наподобие мальтийского креста на широкой кровати, причем одеяло и простыня валялись рядом на полу, и по лицу спящего было видно, что он намеревается проспать еще по крайней мере сутки.

Лососинов рванул штору так, что едва не оторвал карниза, и бешено крикнул: «Соврищев!»

Ответа не последовало.

Тогда Лососинов подошел к Пантюше и стал трясти его за плечи, повторяя: Соврищев!

Спящий слегка засопел, но не проснулся.

Тогда Степан Александрович вне себя от ярости вырвал из-под него подушку и подушкой этой изо всех сил хватил его по животу.

Спящий как-то странно хрюкнул, заерзал на кровати и, вдруг повернувшись на бок, захрапел во все горло.

Тогда Степан Александрович, дрожа от бешенства, вышел в коридор.

— Скажите, пожалуйста, — крикнул он, — как вы его будите?

Ответа не было. Он заглянул в кухню. Горничная спала на сундуке, положив на себя все имевшиеся на кухне мягкие предметы.

— Эй! — крикнул он и ткнул ее кочергой: — вставайте!

Горничная вдруг вскочила, выпучила страшно глаза, крикнула: «караул, жулики», и, повалившись на сундук в другом направлении заснула, как убитая.

Тогда Лососинов пришел в ярость. Подойдя к роялю, сыграл подряд все гимны дружественных держав, причем от злобы сломал педаль.

Затем он стащил Соврищева на простыне с кровати и, окунув палец в чернильницу, написал у него на лбу «немец». Потеряв надежду разбудить, он решил как-нибудь проучить его, взял галстуки, сунул их в вазу из-под цветов, пошвырял на пол все, что висело в платяном шкафу, укрепил посреди гостиной найденную в кухне половую щетку, а на нее надел кастрюлю вместо головы и приладил пальто с растопыренными рукавами. Наконец, он стал ходить по всей квартире, хлопая дверьми, колотя кочергой по кастрюлькам и сковородкам и крича: война, война, война.

Соврищев наконец проснулся и сел на кровати.

— Разве приехали? — пробормотал он: носильщик! Эй! Носильщик!

— Дурак, — прошипел Лососинов.

— А! — сказал Соврищев, потягиваясь: это ты, Лососинов. Тьфу... Во рту сукно какое-то...



— Идиот! Мерзавец. . . Война объявила Германию России. Понимаешь? Немцы подходят к Москве. Понимаешь? Тебя сейчас повесят. Понимаешь? Взорвут снарядом. Понимаешь? Сонная свинья! Баран!

Соврищев начал одеваться, стуча зубами и дрожа, как дрожат люди, которым не дали выспаться и сразу заставили вставать и одеваться. Но он все еще видимо ничего не понимал.

— Ну, скорей! — кричал Лососинов, сам вдохновляясь своей ложью и швыряя ему штаны: надевай! . . без белья можешь одеваться, не замерзнешь. . . Я не ручаюсь, что немцы уже не заняли предместий. . . Слышишь гул орудий?

Соврищев машинально надел брюки.

Лососинов напялил на него пиджак, затянул на голой шее галстук с такой силой, что Соврищев захрипел и чуть не задохся, и потащил его к выходу. . .

— А умыться. . . а кофе, — бормотал тот, с ужасом сторонясь от чучела.

— Дурак! Видишь, я в военной фуражке. . . Кофе. Вот убьют тебя немцы, тогда узнаешь кофе. . . Ну, живо! . .

И, наслаждаясь мезтью, он чуть не спустил его с лестницы.

На улице Соврищев немного опомнился и, зевая, пошел, куда его вел Лососинов.

— Видишь толпы людей, — говорил тот:—слышишь, как они кричат и поют. . . А ты, байбак, баба, нюня! . .

— В самом деле война? — спросил Соврищев: — я думал, что ты вола вертишь.

Лососинов начал придумывать новое обидное прозвище, когда часть толпы хлынула вдруг в переулок и едва не сбила их с ног. Все попадавшие навстречу с изумлением глядели на Соврищева, а некоторые так и застывали, не успев допеть гимна.

— Чего они на меня глаза таращат, — пробормотал тот: — говорил, без шляпы неудобно.

Лососинов поглядел на него и ахнул. На лбу у Соврищева крупными лиловыми буквами написано было: «Немец».

## ГЛАВА II

### ПАЛКИ В КОЛЕСА

Пришлось вернуться.

Теперь праздник был, так сказать, на улице Соврищева, а Лососинов имел вид слегка смущенный.

— Свинья! — говорил Соврищев, стоя перед зеркалом и растирая лоб наслюнявленным пальцем: — Хам! Вот и не оттирается.

— Ну ерунда, ерунда. Как так не оттирается...

— Да... ерунда. Небось, японские чернила-то!

— А ты мылом...

— Чтобы глаза защипало.

— Ну разбуди горничную и вели подать горячей воды!

— Разбуди-ка, попробуй!..

— Да ведь у тебя две прислуги... Где кухарка?

— А чорт ее знает... Одна спит целый день, а другой никогда дома нет...

— Так ты бы прогнал их. Других бы нанял.

— Да это и есть другие... я каждый месяц прогоняю...

— Я не понимаю! — вскричал Лососинов: — что это за люди?..

— И потом, — продолжал Соврищев: — пиджаки пошвырял, устроил в гостиной какое-то чучело... Разбирай теперь сам... я не желаю... Ведь притти кто-нибудь может... Свинья!

— Ну, сегодня все на улице... никто не придет...

— Дураки на улице, а умные люди дома сидят... Поднял ни свет, ни заря...

— Болван! Шестой час.

— Ну и что ж... я, может быть, всю ночь не спал... от мигрени страдал...

— Ну, ну, мойся!..

— И ничего нет, главное дело, — продолжал Соврищев, растирая лоб намыленной зубной щеткой: — немцы, оказывается, еще и Варшавы не взяли...

— А ты бы хотел, чтоб взяли?.. Хорош русский! Действительно, — немец.

— Сам ты немец... иди-ка, разбирай чучело...

Лососинов пожал плечами и пошел в гостиную.

«Чорт знает, — думал он, снимая кастрюльку со щетки: — чем приходится заниматься в этот исторический день... Да... трудно воевать с таким народом».

Он понес в кухню кастрюлю. Горничная проснулась и теперь сидела около окна, подперев щеку

рукою и глядя на крышу, на которой кошка старалась поймать голубя.

— Где у вас горячая вода? — спросил Лососинов, в пику ей решив все сделать сам.

— А где же ей быть, — отвечала та с сонной и добродушной улыбкой: — в коробке.

— Я вас серьезно спрашиваю, — крикнул Лососинов, покраснев от злости: — где вода?

— В коробке вода.

Лососинов вернулся в комнату Соврищева. Тот продолжал с тоской тереть лоб, перелистывая от скуки «Всю Москву».

— Она к тому же и грубиянка! — воскликнул он: — издевается. Говорит вода — в коробке.

Соврищев вздохнул и оба они пошли в кухню. Горничная снова спала на сундуке с головой, укрывшись какими-то юбками.

— Ну вот, — сказал Соврищев: — дурак... Она не спала, надо было пользоваться, а ты даже не потрудился узнать, в какой коробке.

— Да ведь это же нелепость!.. Сам посуди, ну как вода может быть в коробке?.. Просто ты их распустил... Они привыкли, что ты с ними амуришься.

— И неостроумно, — пробормотал Соврищев: — вон коробка какая-то из под «Эйнема».

— Нет там воды никакой, — сказал Лососинов, заглянув в коробку: — разбудить ее, что ли?

Соврищев безнадежно покачал головой и опять отправился к зеркалу.

— Пойдем, — предложил ему Степан Александрович: — почти незаметно.

— Спасибо.

— Ей-богу. . . Если кто не знает, ни за что не разглядит. Хочешь мою фуражку с козырьком?

— Что я дурак, что ли? . .

— Имей в виду, Соврищев, — крикнул Степан Александрович: — что эту фуражку носят не дураки, а русские солдаты! Те самые солдаты, которые там на кровавых нивах защищают идиотов вроде тебя.

Соврищев долго смотрел в зеркало и наконец проговорил:

— Ну, пойдем! . .

Они вышли на улицу.

— Поесть бы, — сказал Соврищев: — у меня маковой росинки во рту не было.

— Да, — пробормотал Лососинов: — в штаб теперь, разумеется, поздно.

Он был зол и недоволен тем, что его менее одаренный друг возымел над ним некоторую как бы власть и превосходство.

У входа в ресторан они столкнулись с двумя прекрасно одетыми джентльменами.

— Немцы уже идут на уступки, — проговорил один, ткнув пальцем в вечернюю газетку.

— *Quidquid id est timeo Danaos et dona ferentes*, — улыбаясь, возразил другой: — ручку Анне Сергеевне.

И они разошлись в разные стороны.

## ГЛАВА III

### МОЛНИЯ В МОЗГУ

Муж Нины Петровны сразу получил высокий пост в Красном кресте. Враги и завистники утверждали, что его с кем-то спутали, что будто он выдвинулся тем, что запел однажды канарейкой в присутствии высокой особы, одним словом говорили все, что при этом говорить полагается. Сам он, получив пост, немедленно привлек к себе на службу всех знакомых, и Нина Петровна была очень мила в белом фартуке и белой косынке. Лососинов и Соврищев посещали Нину Петровну, которую и заставляли всегда в некоторой ажитации. Нина Петровна хотя и жила на даче, но в такие дни считала нужным быть в Москве. Генерал неоднократно говорил, что если бы все дамы и барышни в те дни продолжали жить на даче и не считали нужным быть в Москве, то мобилизация прошла бы еще лучше. Впрочем, это мелочь.

Весть о том, что Степан Александрович собирается на войну, изумила — больше — потрясла всех его знакомых. От матери скрывали. Не было барышни или дамы, которая бы не связала ему теплого исподнего платья, так что Степан Александрович, если бы захотел, мог бы открыть лавочку трикотажных изделий. Какая-то из барышень даже подарила ему перевязочный комплект, но уж это ни к чему. Человека, едущего навстречу такой опасности, надо всемерно ободрять, а не напоминать ему о бренности его тела. Один знакомый консерватор написал даже марш «Mit Bewunde-

rung Lososinoff gewidmet». Дальний родственник — разбитый параличом севастопольский герой — прислал Степану Александровичу кисет, на котором бисером вышито было «пли!». Словом, ликование было полнейшее, и можно сказать, что ореол героизма уже вспыхнул вокруг головы Степана Александровича. Ходили слухи, что он уже уехал, что его видели на вокзале в полном вооружении, кто-то утверждал даже, что он уже убит. Однако, все это никак не соответствовало действительному ходу событий, ибо Степан Александрович продолжал жить в Москве. Не известно, что его задерживало. По одной версии он никак не мог разузнать точно, где принимается запись добровольцев, по другой — он был забракован врачебной комиссией вследствие отсутствия какого-то очень важного органа, чуть ли не селезенки. Последняя версия, разумеется, неверна, ибо отсутствие какого-нибудь органа не может служить препятствием. Наоборот. Чем меньше у воина органов, тем воин, так сказать, неуязвимее. Но факт остается фактом. Степан Александрович продолжал жить в Москве. Ближайшие друзья стали к тому же замечать в его поведении нечто весьма странное и даже загадочное. Вот что говорил по этому поводу его закадычный друг Пантюша Соврищев!

«Сидим это мы однажды в ресторане «Пассаж», едим, как сейчас помню, селедку с гарнирчиком, и слушаем гимны. И вдруг, можете себе представить, Лососинов забирает всю селедку в кулак, отворачивается и шварк ее мне прямо в морду. Такая сволочь! И ведь пьян, за-

метьте, не был. Я, конечно, разозлился как налим, хотел его тут же при всех изувечить. Вытираю лицо салфеткой, а он поглядывает на меня не то с любовью, не то с сожалением. «Прости меня, говорит, Пантюша, но когда-нибудь ты поймешь, для чего это я сделал, и не только не будешь на меня сердиться, а может быть, скажешь, что и жить-то тебе на свете стоило лишь для того, чтоб Лососинов запустил в тебя селедкой». Я с ним потом целую неделю не разговаривал. Ни за что бы не помирился, если бы он мне Пумку свою не уступил. Помните, была такая у Мюра продавщица — почти без юбки и глаза задернуты пеленою сладострастия. Только на ней и помирились».

Другая странность в поведении Степана Александровича состояла в том, что он, идя по улице или сидя дома, внезапно оборачивался назад с такой стремительностью, что однажды чуть не свернул себе шею. Он же однажды, закрыв глаза, хотел броситься под велосипед, как бы желая покончить с собой. К счастью его удержали.

... Как все матери, госпожа Лососинова ничего не замечала. Война ее не так уже заботила, ибо Степан Александрович пользовался отсрочкой, а к тому же и сахарный завод, коего пайщицей состояла госпожа Лососинова, как-то с войной заработал резвее и дал вместо десяти годовых двенадцать.

Было это ранней весной тысяча девятьсот шестнадцатого года — «года самого скверного», как все полагали. Так думали потому, что тогда еще не пережиты были года последующие. И все-таки хрдомый был год.



Госпожа Лососинова сидела однажды вечером в своей комнате, размышляя, отчего бы могла погаснуть неугасимая лампада: кошка ли дверью хлопнула, святой ли в обиде на нее за нерадение? А как радеть, когда столько хлопотливых сует и слухи такие ходят, что каждый слух — лишний седой волос. И спичек-де не будет, и перцем запасайтесь. А солдаты будто сказали: «кончим с немцами воевать — ружей не сложим». Неужто опять, как в девятьсот пятом Москву из пулемета горошить? И вот — постель в комнате полуторная из дуба с пятью подушками — верхняя словно для булавок — а интереса к уюту нет. Кажется, прежде в такой дождливый вечерок пораньше спать лечь, снов дождичком нагонять, а теперь и не до сна. И все же решила госпожа Лососинова, приняв лакрицы, лечь.

Едва успела она облечься в пеньюар, как донеслись до ее слуха из гостиной странные звуки. Словно забрался туда медведь или тяжелый человек — и ревится. Тихо все, а потом вдруг, бум-бум, словно кто с потолка на пол летит. . .

«Господи, — подумала госпожа Лососинова, — уже не начинается ли что? . . И Степа дома ли? Словно кто в дом ворвался».

И от страха вне себя отправилась она заглянуть в полурастворенную дверь гостиной, в которой горел свет.

Тут же и замерла она в удивлении и недоумении.

Степан Александрович стоял посреди гостиной в пальто, галошах и шапке. Веревкою к его талии прикручена была, наподобие шашки, трость. В одной руке

у него был чемодан, в другой большая постельная подушка.

Уже самый наряд этот мог показаться удивительным. Каков же был испуг госпожи Лососиновой, когда Степан Александрович вдруг разбежался и прыгнул со всего размаху на рояль, сорвался, выпустил чемодан и ударился головой об инструмент, от чего последний загудел.

Госпожа Лососинова не выдержала и вошла в комнату.

— Это все у тебя, Степан, от холостой жизни, — сказала она, — губишь ты себя. Вон Брусницына Наташа, чем не барышня?

Степан Александрович вид имел действительно крайне возбужденный. Он поставил чемодан на пол и сел на него, потирая ушибленную часть головы.

— Мама, — сказал он глухим голосом, — видите вы меня?

— Да что ты, Степан, конечно, вижу, и что ты на себя напялил. Галоши грязные, смотри, как наследил!

Лососинов взволнованно прошелся по комнате.

— Смотри, все кругом женаты... один Соврищев только... ну уж это я даже и не знаю, что это такое... человек он или еще что... Наташа Брусницына очень в тебя влюблена.

— Я — принципиальный аскет...

— Я Наташу Брусницыну в бане видела — Венера... и не вертлява.

— Ну и обнимайтесь с ней на здоровье... Женитесь! Как глупо.

— А на фёртепяны прыгать, скажешь, умно?

— Не ваше дело.

И Степан Александрович, уйдя к себе в комнату, дважды повернул ключ.

Госпожа Лососинова привела в порядок мебель, погасила свет и ушла к себе.

«Нужно будет, — подумала она, — ему в суп александрийского листу подмешать».

#### ГЛАВА IV

### РУБИКОН ПЕРЕЙДЕН

— За каким дьяволом мы сюда приехали? — спросил Соврищев, когда извозчик по распоряжению Степана Александровича подъехал к дверям одного из кремлевских дворцов.

— А вот увидишь, — сурово отвечал Лососинов, входя в роскошный вестибюль.

Бритые швейцары, похожие на фотографии знаменитых артистов, сидели на дубовых стульях и хрипло над чем-то смеялись.

— Мне князя Почкина, — сказал Степан Александрович, приготавливаясь снять пальто и в то же время боясь унизиться, если снимет его сам.

Швейцары, сидевшие поодаль, молча отвернулись, а у ближайшего сделался страшный припадок зевоты, в который ушла вся энергия его организма.

Степан Александрович сам повесил пальто на один из бронзовых крючков.

Швейцар, между тем, с треском сомкнул челюсти и хотел что-то сказать, когда новый припадок зевоты помешал ему в этом. Он махнул рукой, как бы приглашая прибывших подняться по лестнице, и повидимому тотчас же забыл про их существование.

— Посмотрим, будет ли он через год зевать в моем присутствии, — пробормотал Лососинов, взбираясь по лестнице, — мопс!

Поднявшись и войдя в первый зал, Соврищев чуть не вскрикнул от удивления. По всем возможным направлениям стояли столы, а за этими столами девушки в белых, как морская пена, одеяниях и ручками, напоминавшими по нежности эйнемовские безэ, скатывали винты.

У Соврищева разбежались глаза, закружилась голова, и он едва не упал на зеркальный паркет.

— Имей в виду, — прошептал Степан Александрович, — что это все — аристократки. . . Я не поручусь, что среди них нет какой-нибудь великой княжны. Поэтому брось свои штучки.

В следующей зале их ожидало не менее внушительное зрелище. Уже не барышни, а седые дамы торжественно сидели за швейными машинками и шили с мечтательным выражением лица.

— Графиня, — сказала одна из них, обращаясь к соседке, — я не понимаю, к чему такие длинные кальсоны? По-моему, таких ног у людей не бывает.

— Я сама удивляюсь, но ничего не поделаешь. Надо шить, как сказано. Те, кто давал размеры, лучше нас с вами знали, какие бывают у людей ноги.

Пантюша Соврищев инстинктивно боялся важных дам. Он как-то весь съежился и вздохнул свободнее, когда следом за Степаном Александровичем вошел в роскошный салон, превращенный в канцелярию.

Молодой человек с необычайно гладким пробором и с бледным лицом сидел за одним из письменных столов и созерцал висевший напротив портрет Кутузова.

— Экая прорва орденов, — говорил он более взрослому джентльмену с прекрасными черными усами, — ведь вы смотрите... Все звезды имел. А... Алябьев. Здорово. А? А мы с тобой Станиславу рады. А?

— Ну Андрея Первозванного у него нет, — задумчиво произнес тот, глядя на портрет.

— Как так? А это?

— Это Александр Невский.

— Чепуха!

— Хотите пари?

— Насколько?..

Усатый джентльмен наклонился к уху молодого человека и шепнул что-то, отчего тот раскис от смеха.

— Подлец вы, Алябьев! — пробормотал он, — ну ладно, согласен! А как проверим?

— Спросим Почкина, он все ордена знает, как наше.

— Я могу видеть князя Почкина? — спросил в это время Степан Александрович.

— А по какому делу?

— Скажите просто — Лососинов. Он знает.

— Как?

— Лососинов.

— Гм... Хорошо... сядьте, — прибавил он, хотя сесть было совершенно негде.

Молодой человек между тем что-то крупно писал, слегка высунув язык, очевидно для облегчения процесса писания.

— Ну, конечно, Александр Невский, — сказал, возвратившись, усатый джентльмен.

— Честное слово?

— Ну вот. Спросите сами... Да, — прибавил он, — обращаясь к Степану Александровичу, — вас просят.

Соврищев, ожидавший, что их выставят со скандалом, чрезвычайно изумился. «Молодец Степан, — подумал он, — не подкачал».

В большом кабинете сидел со скучающим видом почтенный человек с седою бородою, расчесанною врозь, чтобы не скрывать висящего под воротничком Владимира.

Рядом сидел рыжий господин и таинственно что-то рассказывал.

— Я и говорю, — бормотал он, — ваше высочество, ведь дважды восемь — шестнадцать. Нет, говорит, восемнадцать. Сосчитала на пальцах. Ну да, говорит, я и говорила шестнадцать, а вы всегда скажете...

— Не понимаю, — заметил князь Почкин, кивая на угол комнаты, — откуда во дворце могут быть кошки? Смотрите — кошка.

Он медленно перевел глаза на Лососинова.

— Чем могу служить? — произнес он, вежливо проглатывая зевок.

«Что они все раззевались?» — с досадою подумал Соврищев.

— Моя фамилия Лососинов, — произнес Степан Александрович довольно-таки гордо, — я надеюсь, князь, что мое дело уже рассмотрено?

— Да, ваше дело рассмотрено, т. е., кажется, рассмотрено... Смотрите, — воскликнул князь вдруг с удивлением, — опять кошка.

— Это та же самая, князь.

— Да нет же. Ту я заметил. У той на лбу белое пятно, а у этой нет. Так ваше дело рассмотрено... Ведь рассмотрено дело э... э... простите...

— Лососинова.

— Да, вот именно.

— Рассмотрено.

— И...

— Постановлено отправить с пополнением на фронт.

— Я очень вам признателен, князь, — заговорил Степан Александрович, — но позвольте вам рекомендовать и друга моего Соврищева. Он, как и я, одержим жаждою принести себя на алтарь отечества.

— Ага... Ну пусть заполнит анкету... Нам нужна молодежь энергичная, и... ну да, энергичная...

Соврищев, выпучив глаза, глядел на Лососинова.

— Послушай, — пробормотал он, — а там не опасно?

Но Степан Александрович сделал вид, что не заметил, а рыжий господин, медово поглядев на Соврищева, произнес:

— Анкету вы спросите в соседней комнате у такого юноши с пробором — он секретарь. . . Впрочем, позвольте, я провожу вас, а то он, знаете, новый человек. . . Что называется, еще не вошел в курс. . .

— Возможно, что тут есть крысы. — Посмотрите, князь, вон еще кошка, — заметил Степан Александрович, начавший чувствовать себя, как дома.

Князь вдруг нахмурился.

— То есть что вы этим хотите сказать?

— Я думал, этим объясняется обилие кошек.

— Если бы это объяснялось только этим, то нечего было бы и удивляться. . . Впрочем, извините, я занят. . . Я занят. . . Видите, у меня бумаги. Я не могу отрываться ежеминутно из-за пустяков. Артемий Львович, пожалуйста, больше никого. . . Я не принимаю. . . у меня доклад в Марфо-Мариинской. . .

Соврищев, заполняя анкету, украдкой оглядывался по сторонам. Со стен на него насмешливо глядели узкие бритые лица александровских генералов. Степан Александрович нарочно не подходил к нему, а в стороне беседовал с усатым джентльменом по поводу формы.

— Вы закажите себе френч, знаете, такой с карманами, — говорил джентльмен, — ну, конечно, сапоги и галифэ. . . Разумеется, шинель. . . ну шапка. . . В штатском не советую. . . Там, знаете, в прифронтовой полосе в штатском ходят только жида. . . Морду могут набить.

Когда Лососинов и Соврищев вышли из дворца и Соврищев собирался было уже накинуться на Степана Александровича со всевозможными упреками, тот вдруг с необычайной стремительностью обернулся назад. Соври-



щев, шедший позади, и не ожидавший маневра, налетел на него и они крепко стукнулись лбами.

— Что ты ходить не умеешь, — воскликнул с досадой Пантюша, потирая ушибленное место, — и не поеду я ни на какой фронт. . . И война-то, говорят, кончается.

— Не поезжай, но помни, что над твоей трусостью будет смеяться весь дворец.

Соврищев плюнул в кремлевский сад и решил покориться своей участи.

## ГЛАВА V

### ЗАЧЕМ ЛОСОСИНОВ ПРЫГАЛ НА ФОРТЕПИАНО

Ночь 25 апреля 1916 года навсегда врезалась в память Пантюши Соврищева.

Бесконечно длинные ряды товарных вагонов, мелкий теплый дождик, какие-то фонари, мерцающие на стрелках.

Пантюша Соврищев с детства безумно боялся паровозных свистков. А тут как нарочно приходилось идти мимо каких-то огромных паровозов, шипящих словно самовары, предназначенные для чаепития циклопов.

— Чего ты за меня цепляешься? — сердито спрашивал Лососинов, который сам поминутно спотыкался на свою шашку.

— Я боюсь, что меня обдаст паром, отвечал Соврищев, а сам думал: «пусть обдаст, лишь бы не засвистел, проклятый».

Огромные товарные составы по временам начинали медленно двигаться, неизвестно куда, мрачно постукивая цепями.

Санитар, шедший впереди, начал вдруг озираться по сторонам с недоумением.

— Ваше благородие, — сказал он, наконец, — та ж они вагоны передвинули. Где наши, не бачу!

— Ну, а что же теперь делать?

— Выртаться до комендатуры. Нехай ваше благородие коменданту голову взмoe, за яким бисом наши вагоны переторкнул.

Степан Александрович безнадежно оглянулся на черный коридор между вагонами. Дождь в это время на секунду прекратился и затем вдруг хлынул по настоящему.

— Сволочь, — бормотал Соврищев, — сидел бы я сейчас у себя в кабинете, а то бы поехал куда-нибудь. . . а теперь изволь по этой грязи таскаться, да еще того гляди — раздавят тебя как муху.

— Садись на извозчика и поезжай домой, если ты такой подлец.

— Как же? Тут и извозчиков-то нету.

— Ну и молчи!

— Экое дило, — говорил между тем санитар, — все три вагона уздесь були. . . Словно бис их слолав.

Товарный состав вдруг остановился, зловеще тряхнул цепями и потащился обратно.

— Ты не расстраивайся, Соврищев, — вдруг сказал Степан Александрович к удивлению Пантюши совершенно спокойно, — тебе осталось немного мучиться.

Как только мы сядем в вагон, я тебе открою одну тайну, и тогда ты станешь так же бодр и весел, как я. . . Видишь, идет дождь, дует холодный ветер, вагоны со всех сторон грозят раздавить нас, а я смеюсь. . .

— Какая там еще тайна, — недовольно пробормотал Пантюша, — уж не хочешь ли ты мне двести тысяч подарить?

— Ничтожный человек! Ты кроме денег не знаешь никаких радостей.

В это время санитар, бродивший взад и вперед, вдруг испустил радостный крик.

— Прыгай, ваше благородие, прыгай, наши вагоны, прыгай живенько! . .

Товарный состав между тем начал двигаться все быстрее и быстрее.

В дверях одного из вагонов стоял другой санитар и махал руками.

— Сюды, сюды, ваше благородие!

К ужасу и удивлению Соврищева, Лососинов, подобрав шашку, довольно ловко вскочил в вагон.

— Ну же, прыгай, — кричал он теперь в свою очередь.

— Я не могу, слишком высоко, — кричал вне себя от ужаса Соврищев, стараясь не отстать от поезда, — я лучше умру. . .

Но он почувствовал, как его со всех сторон ухватили чьи-то руки, и он шлепнулся на вагонный пол как пойманная рыба.

В то же время состав пошел медленней и через минуту остановился.

— Конечно, с непривычки трудно прыгнуть в товарный вагон, — презрительно заметил Степан Александрович.

— А у тебя-то откуда привычка?

— Я упражнялся, прыгая на рояль. Человек должен подчинять себе свое тело.

— Чтоб я еще раз куда-нибудь за тобой увязался! . . .  
Вагоны снова тронулись.

— Сейчас очевидно нас будут передавать с Казанского вокзала на Брянский, — заметил Степан Александрович.

— Комендант сказал, ваше благородие, что завтра к полдню на Брянский прибудем.

— Как, только завтра? . . .

— Это значит мы будем всю ночь вокруг Москвы колесить.

Пантюшу Соврищева, несмотря на его крайнее раздражение, все же разбирало любопытство.

— А что за тайну ты хотел мне открыть? — произнес он, стараясь говорить безразличным тоном.

Степан Александрович колебался с секунду.

— Завтра, — сказал он, — когда мы от'едем от Москвы, я открою тебе эту тайну.

— Вероятно боишься, что я удеру? Должно быть очень хороша тайна, — ядовито заметил Пантюша.

Степан Александрович не унизился до ответа, а, растелив на полу плед и подушку, лег.

Пантюша Соврищев вспомнил вдруг голубой бархат международных вагонов и золотые галуны на коричневом проводнике.

Он посмотрел на груды тюков, лежавших по обе стороны вагона, и злоба закипела в нем.

— Идиот, — пробормотал с таким расчетом, чтоб Лососинов слышал. Но тот величественно спал, а если и не спал, то во всяком случае всякая брань отскакивала от него, подобно дробинке, бросающейся в гранитную стену.

## Г Л А В А VI ТАЙНА ЛОСОСИНОВА

Мокрые весенние поля медленно плыли мимо товарного поезда. В одном из буро-красных вагонов на тюках гигроскопической ваты сидели Степан Александрович и Пантюша Соврищев. Перед ними стоял жестяной чайник и две кружки, в одной из которых Степан Александрович заваривал универсальной ложкой чай. Поодаль сидели и тоже занимались чаепитием санитары.

Товарный вагон от времени до времени, должно быть на стрелках, с силою сотрясался и тогда едущие подсакивали на тюках и пребольно прикусывали языки.

Хотя Пантюшу Соврищева и разбирало любопытство, но он упорно молчал, считая себя — и не без оснований — пострадавшим вследствие чудовищного самомнения Лососинова.

Внезапно Степан Александрович откашлялся, выплеснул содержимое кружки за дверь и спросил торжественно:

— Послушай, Соврищев, что ты думаешь о Бёркли?

Пантюша Соврищев почувствовал себя несколько смущенно. Из самолюбия он не хотел проявить перед

Степаном Александровичем своего неведения в каком бы то ни было вопросе; с другой стороны, он решительно не знал, что такое Бёркли.

— Да не мешает иногда перед обедом рюмашёночек, — пробормотал он наконец и осекся, так грозно нахмурился его более просвещенный спутник.

— Я тебя серьезно спрашиваю, — воскликнул тот, — не ерунди!

Внезапно Соврищева осенило: очевидно дело шло о каком-то союзном генерале.

— Я предпочитаю Френча, — произнес он нерешительно.

Степан Александрович к его удивлению недобро расхохотался.

— Ха, ха, ха! Я узнаю вас, господа империалисты. От Канта к Крупну это уже старо. Теперь от Бёркли к Френчу. . . Но в самом деле. Что ты думаешь о философии Бёркли?

Словно повязка спала с очей Пантюши Соврищева.

Дело, стало быть, идет о какой-то философской доктрине. И тут он почувствовал прилив того особенного вдохновения, которое снисходит на интеллигентного русского человека лишь в тех случаях, когда приходится ему говорить о предмете, ему вовсе незнакомом.

У Пантюши Соврищева засверкали глаза, а руки стали эластичны как пружины и приготовились к жестикуляции.

Сперва тихо и медленно, как бы собираясь с мыслями, заговорил он о халдействе и буддизме и отнесся с большим недоверием к учению Конфуция. Для начала вы-

брал он форму отрицательную, т. е. говоря, все время говорил: я не буду говорить. Покончив с Востоком, перешел он прямо к греческой философии, подверг сомнению факт существования Сократа, причем как-то незаметно на время перескочил и на проблему о Шекспире. Говоря о Риме, он только презрительно усмехнулся и назвал Цицерона балаболкой. Средневековые назвал изобретением ученых и только презрительно рассмеялся, когда Степан Александрович попробовал напомнить ему о Фоме Кемпийском.

Новая философия? Да, Пантюша Соврищев не отрицает значения Канта, хотя он мог бы быть, по его мнению, и посообразительнее. Гегель и Шеллинг. Ну да. . . Ну и что же? Гегель и Гегель. И ничего особенного. Флихте гораздо бы лучше сделал, если бы вместо того, чтобы заниматься философией, открыл колбасную.

— Ну а Бёркли? — взволнованно прервал его Степан Александрович, что скажешь ты о Бёркли?

Пантюша Соврищев, видя, что отступать уже поздно и что надо, наконец, заговорить о Бёркли, собрался было сделать это, очертя голову, как неожиданно вагон так тряхнул, что он прикусил себе язык.

— Прости, — пробормотал он, плюя кровью, — ты видишь, я уже не могу говорить.

— Тогда я буду говорить, — произнес Степан Александрович, поудобнее устраиваясь на мешке. — Слушай, Соврищев! Как тебе известно, Бёркли является основателем так называемого гносеологического идеализма.

Пантюша Соврищев презрительно пожал плечами как человек, принужденный выслушать трюизмы.

— Иными словами, — продолжал Степан Александрович, — Бёркли учит, что ты, например, как и все вообще, есть лишь сумма моих восприятий. Камень, лежащий в пустыне и не воспринимаемый никем, не существует. Понимаешь?.. Теперь слушай... (Степан Александрович заговорил шопотом.) Человек, усвоивший это мирозерцание, уже ничего не боится... Какого чорта бояться, например, летящего снаряда, если ты знаешь, что это лишь сумма твоих восприятий?.. Так вот... если внушить это мирозерцание всей русской армии, то... ты понимаешь... солдат перестанет бояться чего бы то ни было... Помнишь, как я, отвернувшись, запустил в тебя сеledкой? Это я сделал спокойно, ибо знал, что, поскольку я отвернулся, ты уже перестал существовать.

— Вот в другой раз я запущу в тебя, тогда будешь знать, существую я или нет.

— Все равно ты меня не убедишь в факте своего существования, поскольку я тебя не воспринимаю... Но не в том дело. Для популяризации учения Бёркли я написал брошюрку, доступную для солдата... Вот...

Степан Александрович вынул из чемодана рукопись.

— Называется «Куда делся кошелек, когда Яков уснул». И видишь — простой народный язык: «Шибко любил Яков Богатов деньги, ох, как шибко. Много душ погубил из-за них проклятых...», ну, одним словом, идея такая, что, когда Яков засыпает, его любимый кошелек исчезает, ибо некому его воспринимать.



Понимаешь? Вот я и хочу добиться свидания с главным-командующим, пока хотя бы юго-западного фронта, и постараться увлечь его своей идеей. А тогда мы напечатает книгу в миллионе экземпляров и разбросаем ее по всему фронту. . . И ты увидишь, что мы создадим новых солдат — солдат-гносеологических идеалистов, которые смеясь будут идти навстречу смерти. . .

Пантюша Соврищев покачал головой.

Степан Александрович, почувствовав, что его собеседник сомневается в справедливости его идеи, ужасно разозлился.

— Конечно, кретины и пошляки не поймут меня, — проговорил он, швыряя рукопись в чемодан и с треском его захлопывая.

— А тебе, Соврищев, — продолжал он, немного помолчав, — советую впихать в себя эту идею. Ты увидишь, как легко будет тебе жить, когда ты уверишься, что все есть лишь твое восприятие.

— Если я лишь твое восприятие, то за каким дьяволом ты ко мне пристал?—спросил Пантюша Соврищев.

Степан Александрович нахмурился.

— Я так и знал, что ты это скажешь, потому что ты дурак, — сказал он.

Больше они в этот день не разговаривали.

## Г Л А В А VII

### УДИВИТЕЛЬНАЯ ДАМА

Вещевой склад «лилового креста» помещался в офицерских казармах военного городка при городе Лукомыры Подольской губернии.

О, трижды благословенная, зеленокудрая, Южным Бугом перерезанная Подолия! Помню и я твои томлением исполненные, благоуханные летние ночи, древние каменные ограды костела и немножко подальше синагоги, кривые узкие улицы, где так сладостно раздается топот каблучков запоздавшей красавицы. И так отзывчивы, так безотказно добры лукомирские красавицы, что диву дается заезжий иногородец. «Ну вот эта наверное пошлет к чортовой бабушке», думает он, в узком переулке столкнувшись с воскресшей Суламифью. Но воскресшая Суламифь останавливается тотчас же по его трепетному знаку, улыбается так, что у бедняги сердце начинает вертеться волчком, и, подумавши, говорит: «Пойдем миленький пан до «Золотого Якоря», только прошу выдать одну трешницу». И, спрятав зелененькую бумажку в оранжевый чулок (жест, от коего не может не вспениться мозг у самого хладнокровного), прибавляет: «а там хозяйка з вас еще одну трешницу возьмет. Миленький пан, вы дусик!»

И так всегда, ибо воздух в Лукомирах насыщен любовью.

После десятидневного путешествия в товарном вагоне являли приятели вид, страшный для стороннего наблюдателя.

Небритые, облепленные грязью, обезумевшие от постоянных споров со станционными комендантами, они мало походили на свое московское обличье.

Но мысль, что война есть война, а не благотворительный бал, придавала им гордости. Вернее, гордился

этим лишь Лососинов. Более слабый Соврищев предпочитал войне благотворительные балы.

— А что, — спросил Степан Александрович у извозчика, — в тихую погоду артиллерия слышна?

Извозчик, должно быть, не понял, ибо ничего не ответил.

Они объехали город по унылой и грязной окраине и выехали на плац военного городка, где солдаты занимались прокалыванием и избиением прикладом соломенного чучела. Два мрачных прапорщика стояли поодаль и то одобрительно, то неодобрительно качали головами.

— Они не подозревают, что я везу им душевное спокойствие, — заметил Степан Александрович.

Здание склада было двухэтажное, кирпичное и весьма чистенькое на вид.

Санитар встретил приятелей на крыльце и молча провел их в большую комнату, где стояли, как в дортуаре, четыре кровати подряд.

Странное зрелище поразило в этой комнате вновь приехавших.

На стуле сидел господин в белоснежной сорочке, синих галифэ и божественных сапогах кавалерийского образца.

Он очевидно только-что побрился, ибо слой пудры покрывал его полное благообразное лицо. Теперь он был занят расчесыванием пробора двумя маленькими жесткими щетками. Стоявший перед ним солдат держал в руках зеркало, как в крестных ходах держат икону. Господин, причесывавший себе волосы, пел:

Et tout cela pour un rien  
Qui nous charme qui nous tient  
Et qu'on appelle l'amour.

Худой молодой человек в полосатой пижаме шмыгал вокруг комнаты, изображая катание на роликах, и едва не налетел на Лососинова.

Приятный запах английского табаку и духов Coty был сразу отравлен вонью, исходившей от сапог Степана Александровича и Пантюши. Лососинов в припадке спартанской воинственности нарочно купил самые грубые сапоги.

И худой молодой человек и тот господин, который совершал туалет, изображали на лицах разочарование и недовольство.

— Разве нет других комнат? — воскликнул худой. — Здесь все занято.

— Две койки свободны, ваше сиятельство, — возразил с некоторою робостью санитар.

— Кой чорт свободны!.. А в третьей комнате?

— Там Герасим Петрович с супругою...

— А...

— Князь, не волнуйтесь, — сказал полный, стирая пудру с лица, — вы простите, господа, что я при вас одеваюсь...

— Это мы извиняемся за наше внезапное вторжение... Позвольте представиться: Лососинов.

— Соврищев, — сказал Соврищев.

Те пробормотали что-то неопределенно-среднее между фамилией и телефонным номером.

— Вам не родственник камергер Соврицев? — спросил старший.

— Он мне дядя, — ответил Пантюша и покраснел от наслаждения.

— Очень почтенный человек, но, извините меня, в денежных делах жох. . . именно жох. . . прекрасное русское выражение: жох! Иначе не скажешь: жох. . . жох!

С этими словами господин в галифэ надел с помощью солдата великолепный коричневый френч с золотыми погонами и каким-то внушительным значком.

Степан Александрович нахмурился. Дело в том, что, внезапно обернувшись, он заметил, что юноша в пижамах показывал ему язык.

Тот, впрочем, не смутился, разделся до гола и затем принялся одеваться с помощью того же солдата.

Степан Александрович и Соврицев открыли чемоданы и тоже начали раздеваться.

— А вы знаете, князь, Лутындин вчера на пари Марии Николаевне загадку загадал про «птицу Философ».

— Нет. Ей богу?

— Клянусь! . . Мы все прямо лопнули.

— Молодчина. . . ну и она? . .

— Не велела подавать ему сладкого.

— Значит догадалась.

— Ну да. . . и показала, что догадалась.

— Ведь это карьера. А?

— Карьера. Ну, are you gaedy.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Вы готовы?

— Yes! <sup>1</sup>

— Allez hop! <sup>2</sup>

Князь перепрыгнул через постель, и они пошли по коридору, напевая:

Mais enfin la petite  
Tranquillement vous quitte. <sup>3</sup>

Степан Александрович умывался, мрачно фыркая и отдуваясь. Такое начало ему видимо не понравилось.

Соврищев, наоборот, несколько ожил и, вытащив из чемодана башмаки и краги, энергично чистил их щеткой.

— Я знаю эту шансонетку, — заметил он, — ее постоянно распевала Бобка Павловская. . .

Степан Александрович смотрел в окно на грязный плац, где солдаты продолжали избивать соломенное чучело.

Внезапно в коридоре послышались женские голоса и громкий стук в дверь.

— Нельзя, нельзя, — закричал Степан Александрович, — здесь нагие люди.

— Ну хорошо. . . Когда оденетесь приходите наверх.

И голоса удалились.

Но Соврищев уже плясал в одном белье, от восторга обнимая Степана Александровича.

---

<sup>1</sup> Да!

<sup>2</sup> Прыгай!

<sup>3</sup> Наконец девочка

Спокойно вас покидает.

— Да ведь это же Нина Петровна и Лиля! — кричал он, — неужели ты не узнал, идиот!

Оба почувствовали вдруг, как пропасть, отделявшая мировую войну от благотворительного бала, сузилась вдруг до пределов небольшой канавки. Лососинов раздраженно, а Соврищев радостно сказал: «чорт возьми!»

Одевшись и побрившись, они пошли наверх по широкой каменной лестнице.

В большой столовой у окна в плетеных креслах сидели две белоснежные сестры милосердия — Нина Петровна и Лиля. Перед ними стояли только-что одевавшиеся джентльмены и, постукивая папиросами о крышки портсигаров, громко смеялись.

— А, — закричала Нина Петровна, прерывая свой рассказ, — вот и они. Господа, прошу любить и жаловать. Наши московские друзья. Знакомьтесь. Это Лососинов, это Соврищев, это Грензен, а это князь Кувашев.

— Простите за совсем любезную встречу, — сказал любезно Грензен, — но, вы знаете, мы и тут не гарантированы от хамья. (Лицо его вдруг стало меланхоличным.) На днях, например, приехал с пополнением грузин... или армянин... и с места в карьер такую штуку устроил... я при дамах не могу... перед завтраком очень не аппетитно...

— Не рассказывайте... я догадалась.

— Нина Петровна, вы не можете догадаться.

— А я вам говорю, что догадалась.

— Студенты тоже... ехали бы в земский союз... Один за столом вдруг гаркнул: в Москве все переворота

ждут! А Мария Николаевна, вы знаете, близка с царской фамилией. . .

— Ну да она же его и срезала. . . и тонко. . .

— Да. . . да. . . Говорит: в Англии есть хороший обычай за столом не разговаривать. . . А?

— Но вас узнать нельзя в форме.

— А к вам так идут косынки.

— Поздно, поздно, надо было с этого начать. . .

Нина Петровна и Лиля закатились было, но вдруг умолкли. В комнату вошла очень красивая и очень почтенная дама в белой косынке и черном платье, украшенном на груди красным крестом.

Позади нее усатый кривоногий солдат с лоснящимися щеками нес на блюдечке какие-то пилюли.

Грензен и Кувашев подошли к ручке.

Нина Петровна опять сказала, но очень почтительно:

— Это наши друзья: Лососинов и Соврищев.

Дама испытующе посмотрела на них и протянула руку.

— Очень рада, — сказала она и, обернувшись к солдату: — кидай сюда!

Солдат присел на корточки и кинул в щель возле двери три пилюли.

— Ну как, помогает? — спросил Грензен почтительно, но игриво.

— Через три дня все подохнут, — отвечала спокойно дама и пошла к следующей щели возле окна.

— Et nous aussi? <sup>1</sup> — прошептал князь.

---

<sup>1</sup> И мы также?



— Cessez! . .<sup>1</sup>

Дама и солдат прошли в соседнюю комнату.

Соврищев вдруг почувствовал себя в своей тарелке. Он в припадке восторга слегка пожал Лиле руку между плечом и локтем.

А Степан Александрович снова угрюмо поглядел в окно.

На грязном плацу продолжалось избиение чучела.

Внизу зазвонил колокольчик.

— А не вредно сейчас позавтракать, — заметил Грензен.

Соврищев войну представлял себе иначе.

---

С Грензеном и князем Соврищев тотчас же подружился.

Степан Александрович был охвачен каким-то непонятным раздражением, хмурился и старался не сосредоточивать своих мыслей на формах Нины Петровны, что плохо ему удавалось.

Весь день прошел в болтовне о московских знакомых, и под конец Степан Александрович стал серьезно сомневаться, что война на самом деле происходит.

Когда наступил вечер и все разошлись по своим комнатам, Соврищев сказал Степану Александровичу, кивая на Грензена и князя.

— Пойдем с ними.

— Куда?

— К одной здешней жительнице.

---

<sup>1</sup> Перестаньте!

Степан Александрович ничего не ответил, с раздражением разделся, лег и отвернулся от своих трех сожителей.

— Пойдемте, в самом деле, Лососинов, какого чорта? — сказал князь, надевая куртку из солдатского сукна.

— Вы вероятно устали с дороги? — вежливо заметил Грензен и возвел очи к потолку. — Ах, я вас вполне понимаю. Мне стоит проехать в поезде один день и я пропащий человек.

— Пойдем, балда! — прибавил Соврищев, обнаглевший за этот день до неузнаваемости.

— Я не за этим приехал на войну, — сказал Степан Александрович, — девочки есть и в Москве.

— Таких, как здесь, нет! — воскликнул князь.

— А вы знаете, он прав, — все так же вежливо произнес Грензен, — здешние девочки совершенно исключительны!.. Бог их знает, как они ухитряются сохранять духовную невинность, с ними можно даже разговаривать на отвлеченные темы.. Нет, серьезно.. Вот Юзя.. она историю искусств Любке читала..

— Какой Любке? Которая ушами двигает?

— Ну, Любке.. такой ученый..

— А!.. Любке..

— Пойдем, ты с ними о философии поговоришь..

— Птица, философ.. Ха, ха!..

Соврищев и князь расхохотались, а Грензен вежливо и укоризненно качал головой.

— Good night,<sup>1</sup> — сказал он, после чего все трое весьма ловко вылезли в форточку и скрылись во мгле.

Лососинов задернул шторы и не успел даже собраться с мыслями, как дверь отворилась и в комнату вошла Марья Николаевна.

Степан Александрович в ужасе кинулся под одеяло и как нарочно никак не мог укрыться. Одеяло как-то завернулось, и он, бормоча несвязные извинения, болтал голыми ногами.

— Пожалуйста, не нервничайте, — сказала Марья Николаевна, — я вам в бабушки гожусь.

И, поправив одеяло, она села на край постели.

— Я все слышала, — проговорила она тихо и торжественно, — вы благородный юноша.

Лососинов смущенно глядел в ее прекрасные черные глаза и не знал, что отвечать.

— Вы честно и порядочно поступили, не пойдя с ними, — продолжала она, — и я уверена, что вы хорошо можете повлиять на князя. Бедный князь погибает в сетях одной шлюхи. . . Родители шлют мне телеграмму за телеграммой, а что я могу поделать с этим сорванцом? Не могу же я его драть. Повлияйте на него. . . вы сделаете святое дело!

Степан Александрович почувствовал гордость и умилился от сознания своей добродетели.

— Я сделаю все от меня зависящее, — прошептал он, — бедный молодой человек!

---

<sup>1</sup> Доброй ночи!

— Она, конечно, хочет женить его на себе. Этой потаскушке лестно стать княгиней, но положение родителей. . . И я очень сердита на Грензена. . . он-то не маленький. А что ваш приятель тоже шалопай?

— Ах, Марья Николаевна, вы знаете современных молодых людей!

— Да, да. . . это несчастье. Он женат?

— Нет.

— Вот они все не женаты. . . а потом вдруг женятся на какой-нибудь *passez moi le mot*<sup>1</sup> — проститутке. . .

— Разумеется. . .

— Я бы вас очень просила просто не пускать князя никуда по вечерам. . . Смотрите на него как на младенца. . . и в случае чего сообщите мне о всех его эскападах. . . Повторяю, вы сделаете святое дело. . .

Степан Александрович вдруг вдохновился. Он с чувством поцеловал протянутую ему руку и сказал взволнованно:

— Клянусь сделать все от меня зависящее! . .

— Итак — союзники. . . . Вы знаете, ваша фраза просто умилила меня. «Я не за этим приехал на войну!» Правильно!

— Да. . . я приехал. . . с другой целью. . . (Степан Александрович даже вздрогнул от неожиданно осенившей его мысли.) Марья Николаевна, вы, кажется, хорошо знакомы с главнокомандующим?

— А что? . .

---

<sup>1</sup> Извините за выражение.

— Мария Николаевна. . . у меня есть проект спасения России! . .

— Говорите.

Путаясь и заикаясь, начал Степан Александрович излагать философию Бёркли и, постепенно загораясь, перешел к великому ее значению при настоящих условиях.

Прекрасные черные глаза, не мигая, смотрели на него, и никак нельзя было понять, проходят ли сквозь них пламенные мысли Степана Александровича или отражаются вместе с пламенем свечи.

Как бы там ни было, но Мария Николаевна вдруг встала, перекрестила Лососинова, поцеловала его в лоб и сказала.

— Господь да хранит вас! А письмо в Бердичев дам вам завтра.

И ушла из комнаты, грустно оглядев три пустые постели.

Оставшись один, Степан Александрович по крайней мере еще целый час восхищался своей добродетелью. . . Мысль, что теперь он наконец близок к осуществлению великой идеи, приводила его в восторг.

Наконец он задремал, и тут ему вдруг приснилась Нина Петровна в совершенно раздетом виде и так ему улыбнулась, что он проснулся, задыхаясь, с сильным сердцебиением.

Он знал, что Нина Петровна помещается одна в комнате второго этажа, знал он и то, что Нина Петровна еще в Москве неоднократно выказывала ему свое благоволение. И вот, плохо даже соображая, что делает,

оч накинул шинель, надел носки, чтоб не простудиться на каменном полу и пошел ощупью по направлению к лестнице. Осторожно поднявшись, он секунду соображал и затем двинулся по темному коридору, держась за стену и стараясь угадать желанную дверь. Разгоряченному его воображению за каждой дверью слышалось горячее дыхание Нины Петровны, но возле одной он остановился решительно. Здесь пахло «ее» духами. Он тихо стал поворачивать дверную ручку, но в этот миг яркий свет прорезал мрак позади него.

Мария Николаевна стояла со свечкой в руке на пороге своей комнаты и беззвучно смеялась.

— Пойдемте, я вас провожу, — прошептала она наконец и пошла вперед с деловым видом, наклонив голову.

Степан Александрович шел за нею, кутаясь в шинель и в полном остоленении.

Она свернула в какой-то коридорчик и вдруг остановилась перед маленькой дверью.

— Вот, — сказала она, смеясь. — Натя свечку.

Степан Александрович вошел в дверь и вне себя от конфуза заперся.

Все было тихо. Он просидел десять минут, двадцать, полчаса, наконец, решив, что все угомнилось, задул свечу и осторожно отворил дверь.

— Зачем же вы свечку-то потушили? — слышался в темноте недовольный голос. — У меня спичек нет. Ну, пойдемте, я вас доведу до лестницы.

И, взяв его крепко за руку, повела на площадку.

— Идите осторожно, не оступитесь, — произнесла она, когда Степан Александрович стал спускаться. — И как можно в одних носках? У вас нет ночных туфель? Я вам пришлю завтра солдатские. Покойной ночи. Счастливый человек! Будете спать! А я уже пять лет не сплю по ночам. Пожалуй, буду сейчас писать для вас письмо. . .

И, зевнув, она исчезла во мраке.

## ГЛАВА VIII ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

Город Бердичев во времена дикого царизма и кровавого юдофобства был обычно синонимом ярко выраженных сторон еврейской нации. Говорили, например: «у нас в доме шесть зубных врачей. Просто не дом, а сплошной Бердичев». Или: «я думал по виду, что он коренной русак, а заговорил: Бердичев».

И тем не менее штаб главнокомандующего юго-западного фронта помещался именно в Бердичеве.

Поэтому вагоны поездов, направлявшихся в этот город, были обычно переполнены офицерами всех родов оружия.

Тут были и прапорщики из интеллигентов, размякшие от жары, с расстегнутыми воротами гимнастеров. Были гвардейцы, шикарно расхлябанные и державшие мундштуки необыкновенно длинными аристократическими пальцами. Были brave армейские поручики, спорившие на тему, что лучше потерять: руки или ноги, были генералы важные и неважные — кстати очень

любопытный факт: кажется, все у генералов одинаковое, и погоны, и знаки отличия, и лета. А вот у одного есть, а у другого нет самого этого генеральства — изюминки этой нет, не имеющей названия на человеческом языке. Перед одним генералом прапорщик грудь выкатывает колесом и расплывается от чести, а другому еле козырнет одним пальцем — и генерал ничего. Сам чует, что его бог чем-то обидел, а чем и сам не знает, но терпит!

Впрочем Соврищев одинаково боялся всякого генерала.

Не желая объяснять это просто трусостью, он утверждал, что сознание чужой власти подавляет его психику и не дает нормально развиваться его индивидуальности. Поэтому он обычно старался не попадаться генералам на глаза.

Но чем ближе подъезжали друзья к Бердичеву, тем мучительнее становилось количество и качество генералов. Лезли они в вагоны десятками и были все с тою самую изюминкой, так что Соврищев под конец все время стоял, вытянувшись, не куря и не мигая глазами, накапливая в малоталантливом сердце своем лютейший гнев на гениального неоцененного им друга.

На подъездных путях к станции Бердичев потянулись синие, как спелые сливы, пульмановские вагоны с огромными завешанными шторами окнами.

У их входов стояли неподвижные часовые, при входе генерала лихо отводившие в сторону ружья. В одном из незавешанных окон мелькнула такая важная седая



голова, что у Соврищева от почтения как-то дурно стало во рту, словно он раскусил одуванчик.

Наконец остановился поезд, и генералы хлынули из вагонов, словно еще поважневшие от близкого присутствия штаба.

Соврищев отдохнул и даже нашел в себе силы в давке слегка притиснуть ехавшую в поезде полную и грустную еврейку, на что та сказала: «ой, как же вы меня пожали, молодой офицер».

Сев на извозчика, Степан Александрович сразу скомандовал:

— В штаб главнокомандующего! — к великому негодованию Пантюши, считавшего, что прежде необходимо позавтракать.

Но Степан Александрович, чувствуя, что близится миг его торжества, естественно волновался, и всякое промедление причиняло ему невыносимые моральные страдания.

— У меня письмо к его высокопревосходительству от ее превосходительства Марии Николаевны Перчаевс-й, — сказал Степан Александрович дежурному офицеру, очень элегантному офицеру с аксельбантами и с выражением ума и любезности на бритом лице.

— Я могу передать.

— Нет, господин капитан, это лишь рекомендательное письмо, но мне надо главнокомандующего по личному, т. е. не по личному, а наоборот. . . , т. е. я должен сам переговорить с его высокопревосходительством.

— Вам надлежало заранее записаться. . . Сейчас прием. Гм! Перчаева? Это та самая Перчаева?

— Та самая.

— Я доложу. Хотя... (он удалился пожимая плечами и вертя в руке письмо).

Расхаживая по широкому коридору, Степан Александрович живо вспомнил те времена, когда он держал в гимназии выпускные экзамены.

— Пройдите, — сказал, вернувшись, капитан, — но в другой раз имейте в виду, что у нас неременная запись. Ну, знаете, просто нельзя без записи — весь фронт лезет, а главнокомандующий фантастически занят... сверх головы еще вот столько (капитан показал на поларшина выше своей головы). У него железные нервы, но и он не выдерживает... ответственность неимоверная.

Туго пришлось Соврищеву, совсем плохо пришлось от кучи генералов, сновавших взад и вперед. В особенности пугал один худой генерал с очень подвижными плечами и странным тиком. Он все время терся ухом о плечо и в то же время пытался лизнуть языком кончик носа. «А что если остановится и распечет, — думал Соврищев. — Тогда одно средство — умереть!».

Но их ввели в обширную приемную главнокомандующего.

Полукругом стояли посетители: дамы, штатские, старики, военные.

Седобородый генерал, похожий лицом на царя Додона, окруженного кучею генералов, обходил их и тихо спрашивал, словно исповедывал. И просители бормотали, что-то всхлипывая, или просто откашливаясь,

смущенные величием лица, к ним обращавшегося, и сознанием важности минуты.

Главнокомандующий в руках мял письмо Марии Николаевны.

— Это вы — Лососев? — спросил генерал.

— Лососинов, ваше высокопревосходительство, так точно я, имею честь явиться.

— Здесь пишут, что вы придумали что-то для спасения нации?

— Так точно, ваше высокопревосходительство!

— В чем же дело? — недоуменно спросил главнокомандующий, и все генералы затихли, тоже недоуменно хлипнув носами.

В этот миг Пантюша уперся лицом в спину Лососинова и дрожа пробормотал: «поедем в Москву!»

— Дело в том, ваше высокопревосходительство, что это не я, а английский философ Бёркли, я только являюсь передаточной инстанцией.

— Англичане наши союзники. Ну?

— Совершенно верно. И вот видите ли... надо внедрить солдату идеалистическое мирозерцание, ваше высокопревосходительство.

— То есть? Потрудитесь объяснить.

— Внушить ему философию Бёркли... т. е., что все есть наше представление, ваше превосходительство, т. е., что ничего не существует, ваше высокопревосходительство, вне воспринимающего субъекта.

— Я вас не понимаю.

— О, это очень просто, ваше высокопревосходительство, — с живостью забормотал Степан Александрович.

вич, в то время как кругом воцарилась мертвая тишина. — Ну вот, например, снаряды... их нет на самом деле.

— Т. е., что вы этим хотите сказать? У кого это нет снарядов?

— Ни у кого. Снаряд это комплекс восприятий... Или еще проще... вот вы, ваше высокопревосходительство, стоите передо мной. Теперь вот я закрываю глаза и вы, ваше высокопревосходительство... не изволите существовать. (Степан Александрович хотел сказать «не существуете», но решил, что это будет непочтительно по отношению к генералу.)

И, сказав так, он закрыл и вновь открыл глаза.

О, лучше бы он никогда не открывал их, ибо страшно было то, что он увидел.

Он увидел, как понемногу начал багроветь генерал. Краска стала заливать его лицо, начиная снизу и кончая лысиной, причем на генеральском лице сменилась в течение двух-трех секунд вся гамма красных тонов, начиная от розового тона флорентийского заката и кончая темным цветом старого бургундского.

— Что же это такое, господа? — проговорил генерал, обращаясь не то к своей свите, не то вообще ко всем присутствовавшим. — Я командую десятью вверенными мне моим государем армиями, я не сплю ночей, я изнемогаю от трудов, и вдруг я не буду существовать, когда какой-то неизвестный уполномоченный закрывает глаза? Как вы смеете приходить ко мне с подобными проектами! Как вы осмелились оторвать меня от служения моей родине!.. Мальчишка! Молокосос! Очень

мне нужны ваши глаза! Я вас прикажу арестовать, господин уполномоченный, за оскорбление главнокомандующего. Вы у меня тридцать суток просидите. . . Наглость какая. . . Господа! Ну что же это такое? Куда мы идем?

И вдруг более спокойным тоном генерал произнес:

— А Марии Николаевне скажите, чтоб таких дураков она ко мне больше не присылала!

И пошел к следующему просителю.

Степан Александрович опомнился только, дойдя до конца коридора.

— Я сам, знаете, не чужд философии, — говорил вежливо капитан, провожая его, — иной раз, знаете, приходит в голову мыслишка. И я вас отчасти понял. . . но, по-моему, вы делаете одну ошибку. . . ну по отношению к нижним чинам. . . и даже к обер-офицерам ваша теория может быть и справедлива. . . Возможно, что, когда вы закрываете глаза, они действительно смываются. . . но к штаб-офицерам и к генералам это неприменимо. Слишком, знаете, ответственные должности. . . Ну как же возможно, чтоб главнокомандующий и вдруг перестал существовать, хотя бы на пять минут? Ему ведь и отпуска не полагается. Весь штаб моментально разлезется. . . все пойдет к чертовой матери. . . А он, вы заметили, вспылит. Нервы. Железные, не отрицаю, но нервы. У него больное место, что ему не доверяют и за ним следят, а вышло, что вы как бы намекнули. . . что за ним нужен глаз да глаз. . .

Степан Александрович тут вспомнил о своем спутнике.

Бледный, как полотно, стоял, странно приплясывая, позади него Пантюша и, щелкая зубами, бормотал:

— Где тут оправляются?

## ГЛАВА IX

### ЕЩЕ ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

По возвращении из Бердичева наши друзья нашли склад в сильном волнении. Утром приехал из Киева особоуполномоченный и привез какую-то новость, которую сообщил только Марии Николаевне, но почему-то все вдруг поняли, что новость эта важности чрезвычайной, и каждый стал делать вид, что он отлично знает, в чем дело, но не говорит, ибо поклялся свято соблюдать тайну.

Озабоченность Марии Николаевны избавила Степана Александровича от неприятного рассказа о поездке. Она только спросила:

— Ну, как главнокомандующий?

На что Степан Александрович ответил:

— Спасибо, очень заинтересовался.

Хотя особоуполномоченный, вследствие зубной боли, весь день не выходил из своих комнат и секретаря принимал в спальне, тем не менее все откуда-то узнали, что через два дня склад посетит государь, государыня и августейшие дети.

Секретарь отправил в этот день с десяток зашифрованных телеграмм, чтоб вызвать в Лукомыры всех заведующих поездами-складами. По углам шушукались. Говорили, что ни одно царское посещение не обходится

без наград — орденов или ценных подарков — портсигаров, часов и т. п.

Князь и Грензен спорили всю ночь о том, будут ли давать ордена с мечами и с бантом, с одними мечами или без мечей и без банта. В конце концов, князь назвал Грензена неприличным словом, тот обиделся и оба уснули.

Тогда Степан Александрович тихо сказал Пантюше, поворачивая к нему свое похудевшее от волнения лицо.

— Ты знаешь, что я сделаю? Когда государь вылезет из автомобиля, я паду к ногам его величества и доложу ему все. Государь, конечно, ухватится за мою идею, и старому идиоту нагорит так, что он будет помнить.

Соврищев только вздохнул и заказал себе сон: благотворительный бал в Охотничьем Клубе. И действительно приснился ему клуб, но вместо барышень сидели все полные генералы, и все они чесали себе ухо погоном и пытались лизнуть кончик своего носа.

Только за два часа до назначенного срока особоуполномоченный счел возможным оповестить сослуживцев о выпавшем на их долю счастье.

Особоуполномоченный был худой, невысокий человек, умный и проницательный, очень образованный и очень хитрый, один из тех, которые при случае делают Наполеонами и Августами.

Но, конечно, все были готовы задолго.

Нина Петровна и Лиля казались настоящими снегурочками (по меткому сравнению Соврищева),

— Вы — снегурочки, — сказал он, — но не вы таете, а я таю, глядя на вас.

Всем служащим было приказано сидеть на своих местах и работать, как ни в чем не бывало.

Все уполномоченные должны были выстроиться перед зданием склада. Мария Николаевна и особоуполномоченный поехали на вокзал.

В тот самый час, когда царский поезд должен был прибыть в Лукомиры, разразилась ужасающая гроза, продолжавшаяся всего десять минут, но успевшая превратить дорогу в грязное черное месиво.

Это несколько задержало приезд их величеств и еще больше усилило волнение ожидавших.

Но в Подолии грозы, не в пример нашей полосе, не сопровождаются трехнедельным ненастьем.

Выступило солнце и скоро на дороге к складу показался первый автомобиль — темносиний автомобиль, блестящий как зеркало.

Из автомобиля торчали военные фуражки.

За первым показался второй, за вторым — третий.

Тут надо рассказать одно происшествие.

В городе Лукомирах была команда идиотов.

В деревнях во время мобилизации их забрали как глуповатых парней, но они оказались просто идиотами, а потому их решили утилизировать для простейших работ: копания выгребных ям и таскания грузов.

И вот подольский губернатор почему-то выстроил команду идиотов на вокзальной площади, а когда царь вышел на крыльцо и, удивленный несколько странным



видом солдат, спросил, кто это такие, губернатор ответил:

— Это идиоты, ваше императорское величество!

Государь усмехнулся.

Когда подъезжали к складу, он увидел по обе стороны двери полукругом выстроенных уполномоченных. Наклонившись к губернатору, царь спросил тихо:

— Это тоже. . . идиоты?

И получил странный ответ:

— Уполномоченные, ваше императорское величество!

---

Когда царь вылезал из автомобиля, Соврищев должен был ущипнуть себя, чтобы убедиться, что он не сидит в кино или не рассматривает номер «Искр» — воскресного приложения к «Русскому Слову».

Государыня шла рядом с особоуполномоченным, а позади двигалась блестящая толпа: граф Фредерикс, Воейков и прочие, кто обычно сопровождал высоких особ в подобных случаях.

К удивлению и к невыразимой радости Пантюши, Степан Александрович не кинулся к ногам монарха по причине невысохшей еще почвы, а только почтительно наклонился, как и все прочие.

Государь милостиво подал всем руки, а наследник, вдруг подбежав к одному из представлявшихся, спросил: «вы аэропланов боитесь?» На что тот ответил:

— Привык, ваше императорское высочество.

Государыня всем дала поцеловать свою руку.

О целовании ее руки накануне было целое совещание. Грензен, бывавший при дворе, разъяснил, что, во-первых: руку нельзя поднимать, а целовать на той высоте, на которой ее государыня подала; во-вторых, руку нельзя брать, а лишь поддержать, сложив четыре пальца и оттопырив кверху большой.

Пантюша так и сделал, но к его ужасу, в тот самый миг, когда он целовал государыне руку, та о чем-то спросила его, но так тихо, что он от волнения не расслышал. Пантюша, однако, нашелся, и пробормотал что-то тоже совершенно неразборчиво.

Затем все проследовали дальше.

В самом складе не обошлось без приключений. Бухгалтер, растерявшись, не поцеловал руку царице, а лишь потряс ее. Писарь, которому было приказано писать, как обычно, привлек внимание наследника своим почерком.

— Как он красиво пишет! — воскликнул цесаревич. — Напишите мне что-нибудь.

И писарь написал ему удостоверение: «дано сие Его Императорскому Высочеству в том, что он действительно состоит наследником цесаревичем.

Все начальствующие лица и общественные учреждения благоволят ему оказывать полное содействие».

Над столом писаря висел календарь с изображением царской фамилии. Фредерикс указал на него государю. Наследник и дочери обступили календарь и старались узнать себя.

Из генералов в особенности подействовал на Соврицева Воёйков, имевший тогда особенно важный вид

в связи с открытием в его имении водного источника «Куваки». О нем писал тогда М я т л е в:

И я воды твоей, Воейков,  
Источник чистый признаю.

Наверху был сервирован чай, за которым присутствовали, кроме высоких гостей, Мария Николаевна, особоуполномоченный и заведующие поездами.

Среди заведующих поездами были петербуржцы из высшего общества и они ловко сумели занять великих княжен, перемывая косточки разным придворным старушкам. В особенности отличался один худой дипломат, изобразивший, как старуха Хвалынская ссорится с попугаем.

Степан Александрович смотрел на все это, и ему вдруг вспомнилось, как во всех исторических романах описывались великие карьеры, сделанные именно в такие моменты.

Как, например, стал фаворитом маркиз де-ла-Кордон-вер?

Во время парадного обеда у короля он по выражению лица последнего понял, что королю необходимо отлучиться на пять минут. Де-ла-Кордон-вер, громко захрипев, сделал вид, что он смертельно подавился костью. А когда все обедавшие, обступив его, били его по спине и дергали за нос, король успел сбегать и вернулся в превосходном расположении.

А герцог де-Кавардак, изумительно ловко на балу вправивший обратно выхлестнувшийся из корсажа стан Марии Медичи?

И вот Степан Александрович решил встать, обратиться к царю и произнести по-французски:

— Sir! Le salue de la nation est dans ma tête! Permettez moi de parler! <sup>1</sup>

Кровь застучала у него в висках, а сердце заглохло, словно он собирался войти ночью в спальню мало знакомой дамы.

Но в тот миг, когда он уже почти встал, раздался крик.

Пантюша опрокинул себе на колени стакан чая и, подпрыгнув от неожиданности, вышиб головою из рук санитара поднос с пирожными.

На секунду воцарилась мертвая тишина, а затем раздался оглушительный взрыв хохота. Пантюша стоял красный как рак, облепленный кремом, а все обтирали его салфетками и хохотали, хохотали. . .

— Но вы ничего себе не сварили? — спросил дипломат.

— Коленку немножко, — отвечал Соврищев, — но это совершенные пустяки.

А государь, улыбнувшись, сказал:

— Это к благополучию. Жаль только, что стакан не разбился.

И — подлец Пантюша — создал исторический анекдот: взял и хватил стакан об пол. Вдребезги.

— Bravo, — воскликнул царь, — вот это люблю!

И тогда все заплодировали.

---

<sup>1</sup> Государь! Спасение нации у меня в голове! Разрешите мне говорить!

Даже Мария Николаевна впервые ласково поглядела на Соврищева.

Грязь у подъезда и разлитый чай погубили Россию. На вокзал поехали провожать все.

Роскошный поезд литеры «А», тот самый, на котором вскоре должен был разъезжать Керенский в купе с бабушкой русской революции, стоял у перрона.

Говорят, царь, приехав, приказал поставить поезд на запасный путь, чтоб не задерживать пассажирского движения, но начальник станции, сказав «слушаюсь», оставил его однако тут и задержал все движение, дабы в случае чего не задержать государя. Мечтая об ордене, вылил свой ушат на мельницу революции, ибо крепко ругали царя задержанные на соседней станции на пять часов пассажиры.

Освещенные окна были задернуты занавесками. Иногда государь или государыня, подойдя к окну, приподнимали занавеску, и тогда все военные и все уполномоченные, стоявшие на перроне, прикладывали руку к козырьку, вытягивались и замирали. Когда дан был третий звонок, государь отдернул занавеску и сел у широкого окна, посадив себе на колени цесаревича. Георгиевский крест белел у него на груди.

Беззвучно, не дрогнув, сдвинулся поезд и поплыл мимо станции.

И широкое яркое окно медленно уплыло во мрак, и уже последний пульман-гарраж прокатил мимо, а провожавшие все стояли, вытянувшись и приложив руки к козырьку.

А где-то на московских дворах играли в бабки те мальчишки, которые через два года должны были кричать, бегая по Театральной площади:

— Экстренная телеграмма! Расстрел Николая Романова!

Царям не завидуйте!

---

Освещенный квадрат исчез за поворотом.

Руки опустились, все вздохнули облегченно.

— Господа, — тихо сказал Грензен, беря под руки Лососинова и Соврищева. — Отсюда все в «Континенталь», но Марии Николаевне ни гу-гу.

— Это дело, — сказал Соврищев и окончательно примирился с мировой войной.

Князь подошел к ним бледный и расстроенный.

— Мария Николаевна, — сказал он, — от кого-то пронюхала и зовет меня играть с ней в домино. Какой лысый дьявол ей разболтал?

— Наверное, Прокофьев.

— А ему зачем сказали?

— Что же вы будете делать?

— Прямо не знаю, что делать. . . А ну ее к дьяволу!

— Князь! — раздался из темноты голос камергерши. Но князь, вдруг пригнувшись, бросился между грудами лежавших на станции тюков и исчез во мраке.

— Бегите все! — вежливо произнес Грензен.

И все побежали.

---

Отель «Континенталь» составлял славу и гордость Лукомир.

И в самом деле это был настоящий пятиэтажный отель с лифтами и портье, словно перенесенный сюда в готовом виде из Парижа или Берлина.

Остальные лукомирские гостиницы рядом с «Континенталем» казались убогими, да и были такими на самом деле.

Теперь в «Континентале» много номеров было занято участниками встречи монарха. Тут остановились заведующие поездами-складами и какие-то еще неизвестные люди из Петербурга, ловко приехавшие именно в этот самый день для того, чтобы начать свою службу в складах. Не быть при встрече значило не получить ордена. Поэтому были все, кто только мог.

Веселиться предполагали в большом номере, занятом камергером Штромбе.

Камергер Штромбе был человек компанейский и не лишенный поэтического чувства.

Еще утром, отдавая распоряжение о предполагаемом ужине, он сказал метр д'отелю:

— Белого вина, холодного, как снега Московии и красного вина, теплого, как вода генисаретская, шестьсот жен и девиц без числа.

При виде хорошо сервированного и ярко освещенного стола у человека всегда делается восторженное настроение. Нельзя подойти к такому столу, не потирая рук, не испытывая сладостного содрогания и не сказав: «что ж, начнем, пожалуй» или «недурно закручено» или что-нибудь в этом роде.

Теперь все были в нарочито восторженном настроении, ибо ладонь у каждого словно еще как бы чесалась

от прикосновения монаршей руки, а Штромбе утверждал еще, что ордена будут с мечами и бантом. Если такой орден приятно получить, побывав в сражении, то насколько приятнее получить его, не побывав в оном. Поэтому радость уполномоченных была понятна и естественна.

На всех кувертах лежали записочки с фамилиями, но почему-то лежали они через один куверт, оставшийся безымянным.

— В чем дело, Штромбе? — спросил граф Хлынов, когда все уселись.

— Пока еще это тайна, — ответил Штромбе и провозгласил тост за здоровье государя. Ответом ему было громовое ура. Все головы откинулись назад, и пустые рюмки со звоном полетели в угол, где стоял уже на этот случай лакей со щеткой.

Рюмка водки и салат оливье были той каплей, которая переполнила чашу восторженности. У многих на глазах показались слезы умиления.

Пантюша уже пил на брудершафт с князем и Грензеном.

Один только человек был мрачен и уныл, ибо в человеке этом дух настолько доминировал над телом, что никакое чревоугодие не могло заглушить в нем любимой идеи. Говорят Гракхи за едою сочиняли свои речи. Пока один брат сочинял, другой совал ему в рот пищу.

Да, один человек только равнодушно глядел на стоявшие кругом яства, и глубокую грусть изображали его пронизательные глаза.



«Неужели отказаться от любимой идеи?» — думал он, равнодушно выпивая рюмку за рюмкой и словно по обязанности закусывая то балычком, то рыжечком, то икоркой. «Лучше умереть, чем превратиться в одну из этих машин, переваривающих пищу и мечтающих о мечаях и бантах. Нет, я не откажусь от своей идеи!»

И, облизнувшись после провансаля, он почти вслух добавил: «То что не удалось сверху, удастся снизу!»

И когда он сказал себе это, его вдруг охватило новое вдохновение, и ему захотелось выпить по-настоящему самому с собою. Он выпил, закусил омаром и только теперь обратил внимание на своих собутыльников.

Все они уже разговаривали во все горло, перебивая друг друга и вставляя в разговор крепкие словечки. Камергер Штромбе расстегнул свой китель, украшенный на плечах двумя золотыми орлами, и видимо готовился к некоему *суп d'Etat*.<sup>1</sup>

— Господа, — кричал какой-то полный с удивительно приятным лицом петербуржец, — кто сказал, что мы проиграем войну? Покажите мне эту сволочь и честное слово я превращу его морду в салат. . .

— Это увеличит количество закусок.

— Господа! — кричал уже совершенно пьяный уполномоченный из сенатских секретарей. — Башкиров утверждает, что все шейные ордена можно носить всегда. . . Скажите ему, что он кретин. . .

— Кто говорит об орденах? Я знаю наизусть статуты всех орденов. Что? Станислав третьей степени

---

<sup>1</sup> Переворот.

дает право пробовать пищу в казенных заведениях, но не высказывать своего мнения. . . Анна дает право пробовать пищу и высказывать свое мнение. . . а, например, Владимир третьей степени дает право посещать женские бани. . .

— Но не высказывать своего мнения.

— Хо-хо. C'est bien dit! <sup>1</sup>

Внезапно Штромбе встал и принялся из всех сил стучать вилкой по бокалу.

— Господа! — заорал он, перекрикивая всех, — когда римлянам не хватило женщин, они, как известно, похитили сабинянок и поступили вполне резонно. . . Видите: рядом с каждым из вас есть свободное место, надо, чтоб оно не пустовало. . . иначе мы не мужчины. . . не римляне. . . Каждому дается полчаса времени на заполнение соседнего места. . . Кто за это время не найдет себе дамы — вечный позор ему.

— Правильно! Здорово! Великолепная мысль! Ура!

— Сейчас ровно десять часов. . . Чтоб к половине одиннадцатого все свободные места были заняты дамами, независимо от возраста и общественного положения.

— Ура! . .

Все ринулись из номера.

Сабинянок найти оказалось не так уж трудно, ибо они сами собрались у дверей «Континенталья», очевидно предчувствуя неизбежное похищение.

Наиболее ловким удалось найти сабинянок и в пределах гостиницы.

---

<sup>1</sup> Это хорошо сказано!

Некий Бабахов, знаменитый своими победами, похитил из какого-то номера вполне приличную даму, остановившуюся в гостинице проездом в Одессу и скучавшую за чтением какого-то романа.

Пантюша поймал в ванной прехорошенькую горничную, Степан Александрович успел в течение полчасика влюбиться, познакомиться и уговорить принять участие в пиршестве скромную белошвейку, возвращающуюся с работы.

— Я клянусь вам, что вам ничто не угрожает, — сказал он, пораженный ясностью ее невинных глаз, — вы прекрасны! Дайте мне возможность полюбоваться вами.

Скромная девушка, краснея, согласилась последовать за ним и застенчиво села за освещенный стол, потупив глаза и дрожащею рукой оправляя свое полудетское платьице.

— Я на ней женюсь! — прошептал Степан Александрович, стараясь не свалиться со стула, ибо вино внезапно бросилось ему в голову.

Присутствие дам внесло большое оживление.

Сабинянки резво занялись утолением голода и жажды, а затем принялись оказывать кавалерам конкретные знаки абстрактного благоволения.

Уже у Грензена оказался на шее розовый чулок, завязанный бантом, а князь натянул на голову лиловую подвязку, утверждая, что это орден подвязки.

Приличная дама, похищенная Бабаховым, оказалась замечательной танцовщицей. Под аккомпанемент Грен-

зена она протанцовала на столе танец Саломеи, задев и опрокинув всего четыре бутылки и только два раза поправ ногою в майонез.

Крик и шум разрастались ежесекундно.

Штромбе демонстрировал окружающим различные виды поцелуев.

Уже там и сям мелькали в воздухе похищенные у дам части туалета.

Степан Александрович нахмурился, увидав, что Пантюша пляшет в кружевных панталонах.

Но хуже всех повел себя один мало до сих пор проявлявший себя уполномоченный.

Он встал, жестами обратил на себя общее внимание и со словами «отрыгну сердце мое и виждь яко блюю», извергнул съеденное на окружающих.

Раздался визг дам и брань кавалеров.

Соседка Степана Александровича к его великому ужасу вдруг сняла с себя платье, оставшись в одних чулках, ибо белья на ней не было.

— Что вы делаете, — вскричал он, под общий хохот накидывая на нее салфетку.

— Чтоб платье не испортили. Мужчины не крепкие, — резонно ответила девушка и пошла повесить платье на вешалку, застенчиво увертываясь от тянувшихся к ней рук, причем ее атласное смуглое тело составляло красивый контраст с ярко-зелеными чулками.

Тогда Штромбе, уже совершенно пьяный, тоже разделся и в таком виде вышел в коридор, решив вдруг взять холодную ванну.

Там он столкнулся нос с носом с какими-то военными, из которых один почтенный седой генерал имел крайне недовольный вид.

— Будьте любезны прекратить дебош, — произнес он, — я подольский губернатор.

Тогда Штромбе вернулся в номер, накинул на свои голые плечи френч с камергерскими погонами, и выйдя снова в коридор, сказал:

— Начихать мне на губернатора!

А из двери в это время с визгом выскочили две тоже голые девушки и побежали по коридору, преследуемые двумя уполномоченными, из коих один был во френче без галифе, а другой в галифе, но без френча. Все общество скрылось за дверью с надписью — «Для дам».

Губернатор постоял в раздумье, махнул рукой и отдал странное распоряжение. Оцепить гостиницу полицией, никого не впускать и никого не выпускать, а сам уехал.

— Грензен, он меня обидел, — плакал сенатский секретарь, утирая слезы чьим-то подолом. — Грензен, он утверждает, что нам дадут мечи без банта. Грензен... у меня нет сил... но я вас очень прошу... дайте ему по морде... от моего имени... вы тут будете не при чем... Грензен... если вы это сделаете... я вам завещаю свое тверское имение.

Но вежливый Грензен мог уже только улыбаться. Глаза его глядели внутрь, а язык лишь шевелился, но ничего не произносил. Наконец он встал на четверенки и, стараясь никому не мешать, пошел в угол, где и заснул, положив лицо в песочную плевательницу.

А Пантюша с князем между тем придумали неописуемое и в высшей степени непристойное petit-jeu,<sup>1</sup> вызывавшее визг и хохот всех принимавших в нем участие дам.

Степан Александрович вдруг страшно рассердился на Пантюшу. Он подошел к нему и произнес:

— Если ты хочешь быть со мною в хороших отношениях, то ты сейчас же наденешь белье. . .

Но усилия, которые Степан Александрович затратил на произнесение этой фразы, были так велики, что он как подкошенный сел на пол и с удивлением заметил, что комната начала вращаться вокруг горизонтальной оси.

Он осторожно пополз к выходу и вдруг почувствовал у себя на затылке живительную свежесть. Кто-то пустил струю сифона мимо стакана и окатил Степана Александровича. Это сразу оживило его.

Он вышел в коридор и, побродив немного, зашел в какую-то комнатку нечто вроде буфетной, где санитар пил чай. Санитар этот был молодой парень — лакей Грензена.

Степан Александрович, в припадке необъяснимого вдохновения и вспомнив свою идею («то, что не удалось сверху, удастся снизу»), стал объяснять ему вкратце теорию Бёркли, в чем ему сильно препятствовала начавшаяся вдруг икота. Однако, он довел свое объяснение до конца и в заключение изложил содержание своей брошюры. Когда Иван Богатов заснул у себя в избе,

---

<sup>1</sup> Игру.

он по обыкновению положил кошелек на ночной столик. Но едва он закрыл глаза, как кошелек исчез, ибо перестал быть воспринимаем.

Санитар выслушал все очень внимательно, кивая головой и говоря от времени до времени: «ну уж это конечно» или «оченно даже слободно».

В буфетной лежали на полу два тюфяка. На один из них лег Степан Александрович.

Он почти засыпал, однако, услышав голоса, открыл глаза.

В буфетную вошли еще два санитара и принялись пить чай, оглушительно раскусывая сахар.

— Ну что? Все кутят?

— Самое пошло оживление. Еще семерых девок привели. Одна ровно слон.

— Вот барин рассказывал, — сказал грензенский лакей, кивая на Степана Александровича, — какой случай был. Заснул так один, а кошелек рядом положил.

— Ну и что ж?

— Украли.

— Много денег?

— Не сказывал. Полагать надо порядочно.

— Я деньги завсегда в сапог. Самое для них тихое место.

Степан Александрович вздохнул и потерял сознание.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ  
ПРОШЕДШЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЕ  
(IMPERFECTUM)





## ГЛАВА I

### ОЧКИ УНИЖЕНИЯ

Когда произошла Февральская революция, муж Нины Петровны был назначен товарищем министра и отбыл в Петроград, облив слезами свою коллекцию слонов. Так как Нина Петровна не выносила петроградского климата, то она осталась в Москве, а так как после революции ей одной жить в особняке стало страшно, то она уговорила Степана Александровича переехать к ней, на что тот из джентльменства согласился. Ему была отведена комната, непосредственно примыкавшая к спальне Нины Петровны, так что, в случае нападения на дом толпы санкюлотов, он мог одним прыжком очутиться рядом с охраняемой дамой. Для большей безопасности Нина Петровна никогда не запирала дверь со своей стороны, а полы устлала толстым ковром, дабы доблестный защитник ее мог появиться неслышно и внезапно, подобно карающему ангелу.

Из окон особняка, стоявшего в глубине двора, была видна радостная революционная толпа, ходившая взад и вперед с красными флагами, не без основания пола-

гая, что подобное хождение в светлый весенний день много приятнее всякого другого занятия. И все сочувствовали этой милой толпе. Даже больные в больницах, брошенные персоналом по случаю манифестаций, и умиравшие вследствие отсутствия ухода, умирали радостно, сознавая, ради какого великого дела они покинуты. Родзянко и Гучков изнемогали под бременем популярности. В гостиных ругали Чхеидзе. Тогда же в одной из этих гостиных один грустный человек спросил хозяйку: «что думаете вы о Ленине?» и получил в ответ: «по-моему Максимов лучше». Ибо разумели тогда под Лениным обычно актера Малого театра.

Степан Александрович революцию в общем принял. Он читал Нине Петровне вслух «Графиню Шарни» Дюма, а также Ипполита Тэна. Нина Петровна так нервничала от этих чтений, что Степану Александровичу приходилось проводить с нею круглые сутки, не покидая ее даже в ванной, так как, узнав историю Марата, Нина Петровна была убеждена, что ее убьют именно в ванне.

Да и нужно сказать, что прислуга большую часть времени проводила на митингах.

Вообще Степан Александрович отстал от общественной жизни, все время ходил в халате, очень пополнил и как-то потерял себя. Внутренний огонь, пожиравший его всю жизнь, вдруг угас, и у него незаметно стал вырастать второй подбородок, а в раздетом виде он стал походить уже не на одухотворенного факира, как прежде, а на моржа. В то время как вся Россия горела и возрождалась, гениальный человек, наоборот,

брюзг и как бы впадал в ничтожество. Но кремень всегда кремень. Стоит ударить по нему другим кремнем и блеснет искра. И вот этим вторым кремнем явился неожиданно никто другой, как Пантюша Соврищев.

Пантюша Соврищев с самого начала революции исчез.

Появился он внезапно у особняка Нины Петровны в конце октября 1917 года в 9 часов вечера. Шел дождь. Тщетно прозвонив и простучав у парадного хода минут десять, он отправился на черное крыльцо, а по дороге заглянул в освещенную кухню. Он увидел зрелище, заставившее его слегка вскрикнуть от удивления: Степан Александрович находился один в кухне и видимо пытался поставить самовар. Подобрал полы халата, он безнадежно перебирал уголь, наложенный в ведро, потом взял ведро воды и вылил его в самоварную трубу, так что вода хлынула из поддувала и подмыла ему подошвы. Тогда Степан Александрович погрозил кулаком в пространство.

Соврищев не смотрел дальше, а через незапертый черный ход прошел в дом и прошел прямо в комнату Нины Петровны. Та лежала на постели навзничь в батистовой рубашечке с розовым бантиком на груди и, когда Пантюша вошел, раздраженно крикнула: «голова вода?». Нина Петровна была без пенснэ.

— Вы меня не узнаете, Нина Петровна, — сказал Пантюша, подходя к кровати.

Нина Петровна, вскрикнув «ах!», накинула на себя голубое одеяло и простонала:

— Недобрый. Разве можно так врываться?

— Я почему-то думал, что ваша спальня дальше, а потому и не постучался. Что с вами?

— Страшные боли в животе... Мне необходима грелка, а Степан Александрович возится с самоваром. Прислуга разбежалась по собраниям.

— Нина Петровна, разрешите все же поцеловать вам ручку.

И Пантюша взял протянутую ему из-под одеяла душистую ручку.

— Какие у вас горячие руки, — вскричала Нина Петровна.

— Это мое свойство... они могут вполне заменить грелку.

— Не смейте так говорить! Нехороший, нехороший...

— Скажите, Нина Петровна, у вас боли здесь?

— Здесь.

— Ну так вам нужен легкий массаж... я ведь когда-то готовился в медики...

— Врете?

— Ну, вот... я никогда не вру... Я прошел даже курсы пассивного норвежского массажа...

— Правда?.. а то меня все обманывают...

Но Пантюша уже разглаживал атласную кожу Нины Петровны.

— В самом деле мне уже лучше, — говорила она, — но вы правда медик?

— Вы же видите.

— Куда? Куда? Здесь у меня не болит.

— Сегодня не болит, заболит завтра. . .

Но внезапно раздавшиеся шаги прервали курс лечения. Пантюша стремительно отскочил в амбразуру окна, а Нина Петровна натянула до подбородка съехавшее было на пол одеяло.

Степан Александрович вошел не один, а с некоей госпожей Толстиной, дамой, не способной молчать ни при каких обстоятельствах.

Вошедшие не заметили Пантюшу.

— Душечка, — вскричала Толстина, — вы знаете какой ужас? У Анны Дмитриевны повар оказался большевик и держит в кухне пулемет. . . на бедняжке Анне Дмитриевне лица нет. . . За одни сутки *cette belle femme, parce qu'elle est vraiment belle*,<sup>1</sup> превратилась в мощи. . . И прогнать нельзя, он лидер. Но вы больны? Что с вами? Чем вам помочь? . .

— Воды нет горячей, — мрачно заметил Степан Александрович. В это время, обернувшись, он увидел своего друга.

— А, ты здесь? — произнес он с удивлением, но без особой радости.

— У меня уже все прошло, — заметила Нина Петровна, пока Пантюша целовал Толстиной руку.

— Не верьте! Не верьте этим внезапным улучшениям. Помните, как бедный Семен Павлович за пять минут до смерти почувствовал себя настолько хорошо, что по телефону вызвал цыган. В результате цыгане попали на панихиду. Но вы лежите дома? Без мужа?

---

<sup>1</sup> Эта прекрасная женщина — так как она действительно прекрасна.

— Нина Петровна сделала мне честь экстренно вызвать меня, — сказал Лососинов смущенно.

— Но вы разве врач?

— Мы все на фронте стали немного врачами.

— А в халате теперь ведь можно ходить по улицам, — глуповато заметил Соврищев, — тебя могли принять за бухара, за хи. . . хи. . . хивинца. . . вообще национальное меньшинство.

— Да, я так торопился, что не успел переодеться, — побагровев, произнес Степан Александрович и, закашлявшись, вышел из комнаты. Пантюшка последовал за ним.

— Терпеть не могу этой дуры, — пробормотал Степан Александрович, разумея Толстину. — А тебя что принесло?

Пантюша Соврищев дерзко посмотрел на него.

— Я приехал за тобой, Лососинов, — сказал он, — твое поведение мне не нравится.

Степан Александрович вздрогнул и нахмурился.

— То есть? — глухо спросил он.

— Смотри, во что ты превратился, — нахально продолжал Пантюша, — я сам, голубчик, люблю женщин, но нельзя же ради них пренебрегать общественным долгом. Я лично дал себе слово не прикасаться руками ни к одной женщине, пока династия не будет восстановлена.

Степан Александрович даже весь задрожал от негодования.

— Ты будешь читать мне нотации! — презрительно сказал он.

— Да, я! Поскольку я сейчас укрепляю российский трон, а ты только...

И Соврищев неприлично обозначил основное занятие Степана Александровича.

— Я прошу тебя не вторгаться в мою личную жизнь.

— Я не вторгаюсь, а говорю... Посмотри на себя в зеркало, на кого ты похож? Не то Фамусов какой-то, не то Аксаков. Российский император в плену у хамов, а ты...

— Дурак! Я, может быть, больше тебя страдаю...

— Докажи на деле.

— И докажу...

Пантюша дерзко хихикнул.

— В этом халате? Ну, прощай, меня ждут мои единомышленники. Я хотел тебя привлечь, но если тебе важнее баба...

— Идиот! Воображаю, что это за компания.

— Во всяком случае самоваров мы не ставим для дамских животов. Прощай!

— Подожди, в чем дело...

— Поедем, увидишь.

— Сейчас... я переоденусь... Хотя я уверен, что от тебя нельзя ждать ничего путного.

Пантюша ничего не ответил, но молча отогнул обшлаг пиджака.

Там был вышит крошечный двуглавый орел, но не общипанный, а как следует: орел с короной, державой и скипетром.



Степан Александрович побледнел от зависти, но нашел в себе силы недоверчиво усмехнуться. Затем он пошел одеваться.

На улицах было уже темно. Откуда-то доносились звуки Марсельезы и глухой грохот грузовиков, летящих во весь опор. Какая-то женщина пела во мраке:

Он бесстыдник, он срамник.  
Все целует в личико  
Мой любезный большевик,  
А я меньшевичка.

Степана Александровича слегка мучила совесть, ибо он ушел, ничего не сказав Нине Петровне, — она бы его не отпустила, боясь пролетариата. Правда, он сильно рассчитывал, что Толстина просидит еще часа три.

Они шли по темным переулкам между Арбатом и Пречистенкой. Внезапно Соврищев остановился и, вынув из кармана большие синие очки как у слепых, сказал:

— Надень!

— Какого чорта?

— Надень, говорю тебе!

— Я в них ничего не вижу.

— Это и требуется. Изображай слепого. Видишь, это конспиративная квартира, а мы еще не имеем основания доверять тебе.

— Дурак, я иду домой!

— Прощай!

— Постой!.. Ты хочешь скрыть от меня адрес?

— Да.

Степан Александрович с ужасом чувствовал, как Соврищев неуклонно берет над ним власть. Он мысленно проклял Нину Петровну.

— Я могу дать тебе слово... .

— Милый мой, я действую по инструкции целой организации.

— Ну, черт с тобой!

Степан Александрович надел очки. Стекла с внутренней стороны были заклеены чем-то, так что решительно ничего не было видно.

Пантюша взял его под руку и энергично поволок.

Степан Александрович слышал, как сказала какая-то женщина:

— Господи! Сколько людей покалечили. Кто без глаз, кто без носа.

Они вдруг повернули направо и пошли по мягкой земле — очевидно по двору.

## ГЛАВА II

### **МНОГОГОЛОВАЯ ГИДРА КОНТР-РЕВОЛЮЦИИ**

На особенный троекратный стук отворилась дверь, и торжественный радостный голос произнес, сильно картавя:

— Здравствуй, дорогой друг!

Степан Александрович снял очки. Они стояли в ярко освещенной передней, где по стенам висели гравюры и книжные полки. Человек небольшого роста в офи-

церской форме и с моноклем в глазу стоял с таинственной любезной улыбкой на полном бритом лице, опираясь на костыль.

— Лососинов, — сказал Пантюша.

Тогда военный, ковыляя, подошел к Степану Александровичу, взял его руку так, словно хотел прижать к сердцу, и сказал, все также грассируя «р» и картавя:

— Добро пожаловать, брат мой. . . Брат, ибо у нас одна мать — Россия!

И он заковылял на костыле, указывая дорогу.

Они прошли через уютную гостиную, тоже сплошь увешанную гравюрами и уставленную старинной мебелью.

Александр Первый таинственно улыбался со стены.

Военный привел их в кабинет, такой же старинный, где Степан Александрович, к своему удивлению, увидел Грензена и князя. Еще какой-то юноша с лицом, как у лягушки, сидел в углу с гитарой и перебирал струны.

Грензен и князь приветствовали вновь прибывших.

Лягушкообразный юноша отложил гитару и шаркнул ногой, одновременно наклонив голову под прямым углом.

— Лев Сергеевич Безельский, — сказал Соврицев, указывая на хозяина.

— Как, — вскричал тот, — и ты не сказал, куда ты ведешь своего друга и нашего брата! О, Талейран! О, хитрейший из дипломатов!

И он вновь поднес руку Степана Александровича к своему сердцу.

Затем все сели на диваны, причем Безельский подвинул гостям ящик сигар, а сам взял длинную до полу трубку.

— Филька! — крикнул он и стукнул костылем об пол.

Мальчик в серой куртке с позументами вошел в комнату и, улыбаясь, помог барину раскурить трубку.

— Чему ты рад, дурень? — спросил тот печально и торжественно: — ты жид или русский?

— Русский.

— Ну, так рыдай, а не смейся!

Мальчик ушел, фыркнув.

Безельский положил больную ногу на бархатную подушку и пустил целое облако ароматного дыма.

— Et bien, — сказал он. — Baron! Des nouvelles.<sup>1</sup>

— Я неделю тому назад вернулся из Санкт-Петербурга, — заговорил юноша, кривя лягушачий рот, — церкви полны народом и все ненавидят временное правительство. Керенский явно сошел с ума. Мой дядя — барон Гофф — он его знает — и он тоже говорит, что он сумасшедший. Недавно он хотел прогнать своего шофера, а тот оказался большевиком, и Керенский струсил и извинялся. Дядя говорит, что он вообще трус и подлец.

— Грензен, — сказал Безельский, обращаясь к Грензену, — тебе не трудно выдвинуть тот ящик. . . первый от тебя. . . Что ты там видишь?

— Веревку, — сказал Грензен вежливо и удивленно.

---

<sup>1</sup> Итак, барон! Новости!

— Достань ее.

Грензен достал из ящика довольно длинную веревку, в роде той, которой увязывают дорожные корзины. На одном конце веревки была сделана мертвая петля.

— Это мой подарок Керенскому, — сказал Безельский, — пока спрячь!

Все умолкли, а Пантюша украдкой с торжеством поглядел на Степана Александровича. Но в глазах у того уже горел внезапно вспыхнувший с новою силой огонь, и чуял Пантюша, что недолго ему властвовать. Ибо, по счастливому выражению, гений лишь на секунду может быть рабом.

Когда часа через два они вышли от Безельского, получив каждый инструкцию как действовать, если что-нибудь случится, и если ничего не случится, Степан Александрович, к удивлению Соврищева, пошел по направлению к своему месту жительства, т. е. в сторону, противоположную той, где жила опекаемая им особа. Прощаясь, Лососинов пожал руку Пантюше, на что тот сказал:

— Я ж тебе говорил, что общественная деятельность лучше всего этого дамба.

Они расстались. Была дождливая осенняя ночь. Люди притаились, и на улицах было пусто. Издали, со стороны Кремля донесся вдруг выстрел. Пантюша невольно ускорил шаг, вернее даже побежал и побежал он к Нине Петровне, отчасти потому, что это было ближе, но главным образом потому, что его мучила совесть: как-никак это он отбил у Нины Петровны ее защитника. Второй выстрел, раздавшийся в сырой мгле, как бы под-

твердил правильность принятого им решения. Через полчаса, расстелив перед камином стеганное ватное одеяло, Пантюша и Нина Петровна играли в «пляж». Иллюзию несколько нарушало отсутствие на них купальных костюмов, но это было легко дополнить воображением.

Вдруг у самой двери послышались шаги. Пантюша бросился в гардероб, а Нина Петровна едва успела зачихать под кровать части его одеяния.

Степан Александрович, движимый также укорами совести, решил вернуться к несчастной аристократке.

— В Москве стреляют, — мрачно сказал он, покосившись на одеяло у камина и на лежащую на нем, так сказать, Венеру.

— А, это хорошая идея! — продолжал он, — на дворе сыро и холодно.

С этими словами он медленно разделся, закурил папиросу и с суровым видом растянулся на одеяле.

— Нина Петровна, — сказал он, — я вступил в боевую монархическую организацию, с минуты на минуту я могу кого-нибудь убить, но и меня также могут убить с минуты на минуту; сейчас я принадлежу истории, я обречен, такие люди не должны иметь привязанности, поэтому между нами не может быть прежних отношений.

Сказав так, он покосился на Нину Петровну, но она лежала совершенно спокойно и почти спала. Она промышала что-то неопределенное, что крайне не соответствовало ее обычно бурному темпераменту.

— Ну, я очень рад, что вы так к этому относитесь, — с некоторой досадой пробормотал Степан Александрович, и вдруг оба вскочили. По залу опять раздались поспешные шаги и направлялись к дверям спальни.

— Муж! — воскликнула Нина Петровна, и принялась швырять под кровать части одеяния Степана Александровича, который с быстротой молнии устремился к гардеробу и исчез в его недрах.

— Ты каким образом? — встретила Нина Петровна своего мужа, — только не трогай меня холодными руками.

— Прости, что я не известил тебя о своем приезде, — произнес тот, сдувая пыль со стоявшего на камине слона, — но у нас в Петербурге бог знает что сделалось. Совет рабочих депутатов захватил власть, Керенский, говорят, бежал, переодевшись кормилицей. Ленин! Мы все подумали и разбежались. В Москве тоже что-то неладное творится. Впрочем подожди, я сейчас переоденусь и умоюсь, а то я в вагоне рядом с такими двумя солдатами сидел, что просто дышать было нечем.

Он начал раздеваться.

Услыхав подобные политические новости, Нина Петровна забыла все на свете, бросилась на постель, положила голову между двумя подушками и принялась дрожать всем своим соблазнительным телом. Она уже как бы чувствовала у себя на шее нож гильотины и видела свою голову, носимую на пике впереди толпы большевиков, поющих «Са іга».

Супруг ее между тем, раздевшись, пошел достать себе из гардероба халат. И тут увидел он двух друзей, сидевших там наподобие сиамских близнецов в утробе матери.

— А, добрый вечер, — сказал он смущенно, — а я... вот прямо из Петербурга... Чайку не угодно ли?

Друзья вышли из гардероба, и комната стала весьма походить на предбанник.

Они молча пожали друг другу руки.

— Вы меня извините, — пробормотал муж Нины Петровны, — я прямо с дороги, я только умоюсь.

И, накинув халат, он направился в ванную. А друзья между тем ринулись доставать из-под кровати платье и с лихорадочной поспешностью принялись разбирать свой скарб.

Когда муж Нины Петровны, умывшись, вернулся, они уже ничем не отличались от обычных гостей, только у Пантюши оба башмака были на левую ногу, а у Степана Александровича оба — на правую.

— Вы извините, что я в халате, — произнес муж Нины Петровны, — но, знаете ли, сейчас ездить по железным дорогам — это кошмар, и при этом такие ужасные события.

— И вы думаете, что все это будет иметь серьезные последствия? — спросил Степан Александрович, покосившись на темное окно.

И все тоже покосились, и в тот же миг где-то уже неподалеку треснул выстрел и за ним вскоре второй.

От мысли, что придется сейчас выходить в эту темную страшную ночь, у Пантюши как-то нехорошо



стало на сердце, а потому он очень обрадовался, когда хозяин сказал:

— Вы уж ночуйте у нас, в кабинете как раз два дивана. В таких случаях не следует разбиваться. Один ум хорошо, а два и даже три всегда лучше.

На следующее утро кто-то жарил вдоль улицы из пулемета, а вскоре по соседству заухала пушка. Выйти из дома не было никакой возможности. И всю великую неделю, в течение которой, так сказать, в муках рождалась рабочая власть, Степан Александрович, к своей великой досаде, принужден был бездельно просидеть в доме Нины Петровны. Чтобы побороть эту досаду и еще какое-то неприятное ощущение под ложечкой (иди речь о другом человеке, мы бы называли это страхом), он целые дни играл в «кабалу» с мужем Нины Петровны.

### ГЛАВА III

## МНОГОГОЛОВАЯ ГИДРА КОНТР-РЕВОЛЮЦИИ

Выписка из протокола О.В.С.Д. и У.К.С.<sup>1</sup>

С л у ш а л и: Доклад Безельского о необходимости отрезать Москву от снабжающего ее Юга.

П о с т а н о в и л и: Поручить С. Лососинову и П. Софрищеву взорвать мост через реку Оку близ Серпухова по Курской ж. д. для чего сговориться с проживающим в Серпухове отставным полковником Глуховым.

---

<sup>1</sup> Повидимому Общество Восстановления Самодержавия и Дворянства и Уничтожения Красной Сволочи.

— Здесь живет пол. . . пардон, гражданин Глухов? — спросил Степан Александрович у полной женщины, открывшей им дверь.

— А вам его на что? — спросила подозрительно женщина, слегка отступая, ибо в теплые сени мгновенно ворвалась холодная январская вьюга.

— Нас направил к нему его друг Лев Сергеевич Безельский.

— А ну-ка подождите, я спрошу, какой такой друг.

Она захлопнула дверь, предоставив снегу заметать друзей.

— Никакого Безельского нету, — сказала женщина, снова отворив дверь. — Да вы скажите, по какому делу?

Степан Александрович обиделся.

— Дело это настолько важно, — произнес он внушительно, — что о нем я могу говорить только лично с господином Глуховым.

— Да, да, — подтвердил Пантюша.

И по комплекции женщины, судя об ее политических убеждениях, смело добавил: — да вы не беспокойтесь, мы не большевики какие-нибудь.

Тогда их впустили в маленький домик с темной передней, откуда, раздевшись, они прошли в уютную с крашеным полом гостиную, освещенную керосиновой лампой. За столом, покрытым скатертью, сидел в кресле старичок и раскладывал пасьянс, а против него сидел кто-то в роде Льва Толстого в период написания «Чем люди живы». Он пил чай из блюдечка, с треском прикусывая сахар.

— Вот к тебе пришли, — сказала женщина, — не знаю, кто такие.

Посетители назвали себя и на испуганно-удивленный взгляд полковника Степан Александрович произнес:

— Нам бы хотелось с вами поговорить конфиденциально.

— А я вам, собственно на что-с? — спросил полковник.

— Очень важное дело, Лев Сергеевич Безельский полагал. . .

— Да я не знаю никакого Безельского! Впрочем, позвольте, был такой Сергей Петрович Безельский, еще он пушку поднял и надорвался.

— Ни, а это его сын, — уверенно заявил Пантюша.

— Та́к, так, здоровый был человек, но пушка его все-таки осилила. Ну и что же?

— Мы не можем при свидетелях, — сказал Степан Александрович, хмуро поглядев на толстую женщину и старика, который в это время перекувырнул чашку, положил на нее огрызок сахара и произнес:

— Так стало быть заметано?

— Ты, Бумочка, с Данилычем выйди в кабинет, я вот с ними поговорю, а потом опять с Данилычем.

— Только ты без меня ничего не предпринимай, — сказала женщина и удалилась с Данилычем.

— Дело, собственно говоря, идет о взрыве моста через Оку, — сказал Степан Александрович, умно и пронизательно глядя на полковника.

— Виноват. . .

— Лев Сергеевич надеется, что вы поможете нам своим многолетним опытом и знанием и укажете, как всего быстрее и безопаснее взорвать мост, то есть в том смысле, чтобы никто не мог заподозрить о нашем участии в этом деле.

В это время полковник внезапно откинулся на спинку кресла. Лицо его исказилось, глаза налились кровью и почти вылезли из орбит, и он несколько раз с выражением невыразимого страдания шмыгнул носом. Затем лицо его вдруг приняло обычное выражение.

— С утра сегодня хочется чихнуть, — сказал он, — и никак не могу. У нас в полку был поручик, так он, бывало, когда ему также вот чихнуть хочется, схватится, бывало, за нос и бегаёт.

Старичок посмеялся.

— А вы, господа, в самом деле, зачем приехали?

И тут, к великому недоумению Степана Александровича, Пантюша вдруг сказал:

— А что этот старик Данилыч случайно не огородник?

— Огородник.

— А бриллиантов он не покупает?

— Покупает.

— Может он купить у меня вот эту вещь, это одна дама знакомая просила продать.

И, к негодованию Степана Александровича, Пантюша вынул из кармана футлярчик с брошкой Нины Петровны.

— Пумочка, — крикнул полковник, — поди-ка-сь сюда!

Степан Александрович встал, сверкая глазами.

— Я не буду вам мешать, — произнес он с тонким сарказмом в голосе и вышел в переднюю, а оттуда, одевшись, на улицу.

По широкой улице неслась метель, залепляя желтеющие огоньками ставенные щели. Степан Александрович думал об огромном, ужасно длинном и тяжелом мосте, ледяными арками нависшем над застывшей рекой.

«Взорвать этот мост, — думал он, — и большевики слетят, а человек, считающий себя отставным полковником, быть может, даже гордящийся своим чином, нисколько не загорается этой идеей, а интересуется больше какой-то брошкой. А между тем стоило ему только захотеть и мост разлетелся бы на мелкие куски. Почему я не сапер, господи боже мой, почему я не сапер».

Дверь отворилась, и, вместе с полоской света на улицу выскочил Пантюша. Он повидимому не в силах был скрывать свою радость, напевал и приплясывал.

— По полторы тысячи за карат, — произнес он, — и просил еще привозить, завтра же начну всех своих тетушек перетряхивать. Этак, пожалуй, при большевиках заживем еще лучше, чем при царе.

Через час они уже стояли в телячьем вагоне, ныне приобретшем права пассажирского, и слушали удивительный разговор других пассажиров, сплошь состоявший лишь из одного излюбленного русского ругательства, повторяемого то с бесшабашной жизнерадост-

ностью, то с глубокою грустью, то с философическим глубокомыслием.

Степан Александрович ехал, погруженный в глубокую задумчивость. «Злится, что я у Нины Петровны брошку перехватил, — думал Соврищев, — чорт с ним, не зевай в другой раз».

Но Пантюша ошибся. Он не знал, он не мог понять микроскопическим своим мыслительным аппаратом, что в душе Степана Александровича происходил душевный переворот, столь же великий, как переворот Октябрьский. И когда поезд доплелся наконец до Курского вокзала, то в потоке матерщины на перрон вылетел из телятника не прежний Степан Александрович Лосошинов. Прощаясь, он не подал Пантюше руку. Идя по глубокому снегу на родную Пречистенку, встретил он отряд людей в серых шинелях, громко певших: «Вставай, проклятьем заклеименный», и вдруг почувствовал, что на спине у него выросли крылья.

— Не будь на мне ботишков, — говорил он впоследствии, — я бы наверное улетел в тот миг в счастливое царство грядущего. Мое сердце забилося вдруг, так сказать, в унисон с сердцем Советского правительства, и я понял вдруг, какое в этом великое заключается счастье!

В этот вечер старушка М-м Лосошинова сидела по обыкновению в своей комнате, а перед ней стояла на столе кубышка с сахаром, и она размышляла, куда бы убрать эту кубышку, чтобы ее не могли найти при обыске.

Степан Александрович вошел в комнату бодро и торжественно.

— Мама, — сказал он, — вы человек старый и отста-  
лый в духовном отношении, я же человек молодой,  
живой, мне принадлежит будущее.

«Жениться хочет, — задрожав от радости, подумала  
госпожа Лососинова, — лишь бы не на какой-нибудь  
финтифлюшке».

— Я знаю ваше отношение к партии, вы конечно  
будете возражать, бранить меня.

— Да что ты, Степа, — перебила старушка, — если  
хорошая партия, за что же я бранить буду. Девица?

— Какая девица?

— Ну, невеста твоя — девица?

Степан Александрович нахмурился было, но слишком  
радостно было у него на душе и злиться не хотелось.

— Да, мама, — вскричал он, — это могучая девица.  
от поступи которой дрожит земля, и рушатся темницы!

«Наверное Соня Почкина, — подумала госпожа Лосо-  
синова, — она верно: когда ходит, весь дом дрожит».

— Она умеет быть ласковой и доброй, умеет погла-  
дить по голове мягкою как бархат рукою.

«Или Таня Щипцова», — подумала госпожа Лососинова.

— Но она умеет мгновенно превращаться в львицу  
и, оскалив зубы, готова вцепиться в горло всякому не-  
покорному.

«Господи, на Мане Ножницыной хочет, на злючке  
этой».

— Да как же ее зовут? — не в силах больше тер-  
петь, спросила старушка.

— Ее зовут. . . — произнес Степан Александрович,—  
пролетарская революция!

## ГЛАВА IV СУДЬБА-ИНДЕЙКА

У нас имеется черновик любопытного документа.  
Вот он:

*В Народный Комиссариат по Просвещению гражданина  
Степана Александровича Лососинова*

### З а я в л е н и е.

Октябрьская революция есть событие беспримерной важности, оценить которое по достоинству вполне смогут лишь наши далекие потомки. Мы — современники— подобны песчинкам или окуркам, крутящимся в ее вихре, но если песчинки и окурки лежат бессмысленно, не зная, как и что, то дело нас, сознательных граждан, если не понять на самом деле, то хотя бы попытаться понять происходящее. Наше дело закрепить всеми возможными способами завоевание революции — оружием, словом печатным и непечатным. Что есть агитация? — Агитация есть воздействие на массы и чем проще агитация, тем она действеннее, отсюда необходимость в революционной песне, в революционной частушке, в революционной шутке, но это не все. Если прислушаться к живой народной речи, то прежде всего нас поразит необыкновенное обилие всякой брани с уклоном в непристойность, иногда поистине художественную. Замечено, что интенсивность брани возросла



после революции, что и естественно, ибо революция обострила чувства, обострила и их выражения. Недаром в народе слово «выражаться» равнозначуще слову «ругаться». Но печально, что, увеличившись количественно, народная брань не изменилась качественно, и крайне огорчителен тот факт, что товарищи красные комиссары ругаются совершенно так же, как ругались в старину кровожадные урядники и становые. А между тем, если бросить в массы новые, так сказать, революционные ругательства, брань могла бы стать могучим орудием пропаганды.

Для легкости усвоения можно было бы построить их по формуле старых. Например, вместо «Едят тебя мухи с комарами» предлагаю «едят тебя эс-эры с меньшевиками». Например, вместо «собачий сын» — «помещичий сын» и т. п.

Для того, чтобы придать всему этому начинанию характер планомерный и научный, предлагаю основать Государственный институт брани (Гиб), куда привлечь виднейших знатоков словесности, партийных товарищей и представителей от трудящихся масс. Сам я с удовольствием отдал бы все свои силы на организацию такого учреждения.

*Степан Лососинов.*

К сожалению, не известно, каков был ответ Наркомпроса на это в высшей степени интересное заявление. Но из того, что Степан Александрович вскоре как-то разочаровался в коммунизме и не записался в партию, можно вывести заключение, что ответ был отрицатель-

ный, а, может быть, бумага просто затерялась в делопроизводстве; это иногда тоже разочаровывает и охлаждает.

---

Степан Александрович избегал встречаться с Пантюшей Соврищевым. Дело в том, что он чувствовал, как после революции Пантюша возымел над ним какое-то преимущество. До сих пор, выражаясь фигурально, Степан Александрович был кучером, а Пантюша выездным лакеем, но теперь судьба мощною рукою вырвала вожжи из рук Лососинова и передала их Соврищеву.

Степан Александрович, зная, что он даровитее своего друга, был уязвлен этой шуткой судьбы, но однажды ему до зарезу понадобилось продать дюжину серебряных ложек и он, скрепя сердце, отправился к Пантюше, ковыляя по сугробам неосвещенной и голодной Москвы.

У Пантюши в комнате было страшно жарко от раскаленной печурки. Пантюша без пиджака лежал на большом гардеробе, где у него была устроена постель, а внизу в кресле сидел тоже без пиджака человек с окладистой рыжей бородой со средневековыми усами и бровями. Человек этот на безмене вешал какие-то серебряные предметы, а Пантюша с интересом наблюдал за ним.

— Входи, входи, — с высоты своего величия крикнул Пантюша, — если ты дело принес, можно устроить.

Степан Александрович угрюмо вынул ложки. Рыжий человек молча положил их на весы.

— Что же, — сказал он, — две косых.

— Меня не считайте, — благородно заметил Соврищев.

— Ну, значит, две с половиной, заметано!

Степан Александрович, чтоб не унижаться, согласился.

Рыжий человек встал, с необыкновенной быстротой и ловкостью завернул в бумагу все вещи, запихал их в мешок с сеном, мешок сунул в баул, после чего, к удивлению Степана Александровича, расстегнул и опустил до колен брюки. Сделал он это, как оказалось, чтобы достать из какого-то внутреннего кармана деньги. Две с половиной тысячи дал он Степану Александровичу и большую пачку тысяч протянул Пантюше. Затем он застегнул штаны, сделал рукою приветственный жест, надел пиджак, шубу, шапку, забрал баул и вышел по-свистывая.

— Гениальный человек, — сказал Пантюша, — удивительно умеет гнать монету, у него в комнате двадцать шесть градусов, он пьет спирт и ест оладьи. И, разумеется, на коровьем масле.

— Посадят, — пробормотал Степан Александрович, не расположенный восхищаться рыжим гением.

— А за что же его сажать? У него бумажка, служит по охране памятников.

— Ну, тебя посадят.

Пантюша презрительно усмехнулся.

Он пошарил у себя в жилетном кармане и протянул Степану Александровичу какое-то удостоверение.

Лососинов недоверчиво развернул его.

«Дано сие в том, что предъявитель сего товарищ Соврищев состоит преподавателем русского языка N-ой трудовой школы».

Степан Александрович побледнел. Нужно сознаться, что в этот миг он унижился до зависти.

— Это дает мне официальное положение, — продолжал нахально Пантюша, — жалование конечно ерундовое, ну да, слава богу, пока на свете существуют тетки, я с голоду не помру. Ты знаешь, я недавно шелковую юбку продавал, ей богу.

Сказав так, Пантюша весьма ловко спрыгнул с гардероба и, к удивлению Степана Александровича, вынул визитный костюм, в который, повидимому, и решил облечься. При этом он вдруг спросил Степана Александровича:

— Ты сегодня вечером никуда не собирался?

— Нет.

— У нас сегодня в гимназии вечеринка, хочешь, поедем. Угощение будет тюрлюрюлю. Все из белой муки. Я тебя познакомлю с преподавателями, и, чем черт не шутит, может быть и ты нырнешь в педагогику.

— Видишь ли, я не настолько нагл, чтобы преподавать то, чего я не знаю.

— Чудак, ты будешь преподавать то, что ты знаешь. Дело в том, что у нас там историк какой-то подозрительный, его все побаиваются и хотят выпереть. У него что-то с носом не благополучно, все меньше становится, вот тебя на его место.

Степан Александрович как-то упустил момент для величественного отказа.

— А это далеко? — спросил он, когда они вышли в метель.

— На Земляной Вал.

— Такая даль, я не пойду.

— Тебя никто и не просит итти, — нагло отвечал Пантюша. И с некоторой опаской, оглядевшись по сторонам, крикнул: — извозчик!

Извозчик подкатил с удвоенной лихостью. Они помчались по пустынным улицам. Ехать было удобно и свободно, ибо с тех пор, как трамвайные пути занесло снегом, улицы стали вдвое шире.

Они подъехали к ярко освещенному высокому дому. И когда вошли в подъезд, Степан Александрович на миг как-то утратил ощущение времени. На ярко освещенной лестнице толпились барышни в белых и пестрых платьях с бантами и при виде Пантюши разразились громом аплодисментов.

— Пантелеймон Николаевич приехал! — закричали звонкие голоса. Кто-то кинулся вверх, вниз, и вообще произошло необыкновенное волнение.

— Вот я привез вам своего приятеля, — сказал Пантюша голосом доброго наставника.

— Просим, милости просим, — закричали барышни, извиваясь от удовольствия.

Степан Александрович и Пантюша разделись в какой-то каморке, на двери которой висел огромный замок, и затем их повели вверх по лестнице — под звуки доносившегося откуда-то вальса.

В помещении было тепло, светло и по-веселому шумно.

— А как звали Татьяну по батюшке? — спрашивал, идя Пантюша.

— Дмитриевна, Дмитриевна, — закричали все, — мы догадались:

... Дмитрий Ларин  
Господень раб и бригадир  
Под камнем сим вкушает мир.

- А как звали садовника у Лариных?
- Как? как? Мы не знаем, скажите, скажите!
- Гиеней.
- Почему, почему?
- А как же, там сказано:

Судите же какие розы нам заготовит Гиеней.

На миг наступило недоуменное молчание, но затем раздался такой взрыв хохота, что у Степана Александровича зачесалась барабанная перепонка.

«Сволочь, ведь это он из «Сатирикона» вычитал» — подумал Лососинов с негодованием.

Но позади себя он слышал шопот:

— Какой веселый этот Пантелеймон Николаевич, какой душка!

Они поднялись на площадку, с которой был вход в зал, где кружились танцующие, и гремел рояль.

— Здравствуйте, многоуважаемая Марья Петровна, — сказал Пантюша целуя руку полной даме в золотых очках, — позвольте вам представить моего друга и коллегу по университету, известного историка Степана Александровича Лососинова.

— Очень, очень рада, сказала дама, — в наш век ученые люди особенно дороги, пожалуйста, проходите в зал посмотреть, как веселится наша молодежь.

Здесь же у двери жались какие-то парни в валенках и подстриженные в скобку.

— Это ученики мещанского училища, с которыми нас соединили, — шепнул Соврищев, — они более для трудовых процессов употребляются.

— Ну-с, — сказал он опять наставническим тоном, — как вы учитесь, я знаю, посмотрю, как вы умеете веселиться.

К нему подбежала очаровательная девица с вызывающими глазками и сказала, волнуясь от радости:

— Можно вас пригласить на вальс?

Другая девица, блондинка, в голубом платье, обратилась с тем же к Степану Александровичу.

Он обнял мягкую голубую материю и покачавшись закружился со своей дамой (танцующая девица почтиается дамой). Вальс из графа Люксембурга раскатывался по большому двусветному залу. Шуршали ноги, раздавался смех, веселые возгласы.

Степан Александрович как-то слегка обалдел и не обретал себя.

— Вы какой предмет больше всего любите? — спросил он блондинку, чтобы начать разговор, и почувствовал себя гимназистом.

— Русский язык, — без колебания отвечала блондинка, — мы все обожаем русский язык, потому что его преподает Пантелеймон Николаевич, а он такой

умный и такой симпатичный, что просто не дождемся его урока.

Степан Александрович проглотил эту пилюлю.

— Ну, а историю вы любите?

— Ведь вы историк? — вопросом ответила блондинка.

— Да, — пробормотал Степан Александрович, хотя далеко не был в этом уверен.

— Вот если бы вы у нас преподавали историю, я бы ее любила, — деликатно ответила девушка, — а сейчас у нас историк очень бестолковый, вон он стоит.

Историк стоял у стены, нахмурившись и упершись указательным пальцем себе в нос.

Степан Александрович вспомнил рассказ Соврищева, но ничего особенного в носе историка не усмотрел.

Вальс замедлился и умолк.

Все окружили немку пианистку, выражая ей свою признательность. А затем все девушки сразу надвинулись на Степана Александровича и сказали: «пожалуйте чай пить!»

— Нет, нет, — донесся голос Пантюши, — вы, Марья Петровна, не правы, по-моему, «Слово о Полку Игореве» проходить необходимо, но, конечно, если Наркомпрос. . .

«В этом Наркомпросе все твое спасение, дурова голова», — подумал Степан Александрович и тут же почувствовал, что ему страшно хочется стать преподавателем в этой теплой и светлой школе.

«Чорт его дери, — думал он, глядя на историка, — пожалуй, он меня самого оставит с носом».



Они пошли в один из классов, где был сервирован чай для учителей, роскошный чай, действительно с белыми печеньями и булками, с медом и вареньем и с огромными бутербродами из черного хлеба с превосходной паюсной икрой.

У Степана Александровича забила слюна, и он невольно принял участие в расхватывании бутербродов, которым занимались между прочим только преподаватели. Девушки забыли о себе, поглощенные величием минуты. (Учитель и вдруг есть бутерброд!) За чаем Степан Александрович имел случай познакомиться со своими будущими товарищами.

Здесь был седой естественник, с лицом древнего мученика, француз, похожий на породистую лошадь, математик печального вида в сюртуке поверх лыжной фуфайки, седая немка, несколько каких-то педагогического вида дам, составлявших свиту начальницы. Это была, так сказать, педагогическая аристократия — все старые преподаватели этой гимназии. Отдельной группой держались учителя, присоединенные вместе с мещанским училищем. Среди них был и историк с носом.

Пантюша чувствовал себя как дома. Он очевидно усвоил тон любимца начальницы (которая, хотя юридически была уже только учительницей, но фактически вершила всем), весельчака и страшно при этом ученого.

— Да, — говорил он, кушая булочку, — нам, московским филологам, есть что вспомнить. Например, Босилевский — грек. Ка-ак резал! Я просто рот разинул, когда он мне с первого раза «весьма» поставил.

Степана Александровича передернуло. Он знал точно, что Соврищев двенадцать раз проваливался у Босилевского и что «у», полученное им наконец, было результатом слезной мольбы и долгих унижений.

— Положим, я работал, — продолжал Пантюша. — Я, бог знает, как работал.

— Вы остались при университете? — спросил естественник.

Пантюша усмехнулся.

— У меня с оставлением вышла история. Меня сразу оставили четыре профессора! Пришлось отказаться вообще, чтоб никого не обидеть. И вот вообразите — начал уже писать диссертацию — трах, революция — одна, другая. . . Крест на ученой карьере. Но ничего. . .

— А у вас много печатных трудов?

— Трудов много, но. . . ненапечатанных. Где же я могу печатать?

— Положим.

— Я недавно разбирал свои рукописи, так под конец даже расхохотался. Вот такие груды. . . О чем только я не писал. О Египте, о Вавилоне, о Мольере, об Альфреде де Виньи, о Пушкине, о Ломоносове, о Руссо. . .

— А что, — спросил Лосошинов, — «Юрий Милославский» не твое сочинение?

Все удивленно поглядели на него.

— Это же Загоскина! — сказала Марья Петровна.

Степан Александрович покраснел.

— Я пошутил.

— Да, — продолжал Пантюша, обращаясь к девушкам, — вот, дети мои, берите пример. Учитесь, работайте, обогащайте свой умственный багаж!

— Ничто так не возвышает человека, как наука! — сказал естественник.

— Науки юношей питают.

— Век живи, век учись! — вставила немка.

На секунду все умолкли, как бы из уважения к науке, и были слышны лишь дружное чавканье и жевание. Из зала доносились возня и крики — это парни из мещанского училища играли в футбол, сделав из газет мяч.

— Главное, не надо падать духом, — продолжал Пантюша, — сколько раз сидя над книгою бессонною ночью, я начинал чувствовать, что мне никогда не одолеть всю полноту науки. Но я тотчас же уличал себя в малодушии, встряхивал головою и через секунду с новыми силами уже плыл по океану мудрости.

— Как Пантелеймон Николаевич хорошо говорит, — пролаяла одна из свиты начальницы, — у меня тоже всегда так, как я читаю что-нибудь научное. . . вдруг как-то страшно станет, а потом так и поплывешь. . .

— И мне знакомо это чувство, — заметил естественник.

— Разум есть ладья на океане знания, — сказал математик.

— Ученье свет, а неученье тьма! — произнесла немка.

Опять все умолкли, и девушки скромно потупились, кроме двух или трех, все время пожиравших Пантюшу страстным взглядом. Он вдруг сказал:

— Впрочем, сейчас мы здесь, чтоб веселиться. Вальс, силь ву плэ! — и, схватив под руку самую хорошенькую девицу, побежал с нею в зал. Все поднялись.

— Приятно, когда ученость соединяется с веселостью, — заметила еще одна из свиты.

— Но это бывает лишь в исключительных случаях, — строго сказала начальница, поглядев на учениц.

Она отвела в сторону Лососинова.

— Я хотела поговорить с вами. . . дело в том, что наш историк совершенно нетерпим. . . Это неуч и вдобавок, pardon, вы заметили, какой у него нос? Я уже подготовила почву в Моно. Вы бы согласились его заменить?

— О, конечно, с удовольствием!

— Вас рекомендует Пантелеймон Николаевич, этим сказано все. Я, конечно, теперь не играю никакой роли, я просто преподавательница. . . Все, конечно, зависит, от школьного совета. Но. . . Сейчас у нас председателем вон тот старичок Кавасов, но мы хотим избрать Пантелеймона Николаевича. . . Вот, действительно, его нам бог послал. Я поражаюсь, как он успел в такие молодые годы достичь таких степеней. . . И о вас он тоже очень тепло отзывается. . .

---

Через неделю Степан Александрович стал преподавателем истории N-ой трудовой школы и секретарем школьного совета.

Председателем единогласно был избран Пантюша Соврищев.

## ГЛАВА V

### СТРАШНЫЙ ИНСТРУКТОР

Чтоб попасть в школу к девяти, надо было из дому выйти в восемь. Степан Александрович проснулся в это утро с нехорошим каким-то чувством. Было страшно, и тоска мешала вздохнуть всей грудью. Казалось, если бы можно было угадать причину тоски, стало бы легче. Была причина — приснившийся под утро сон: в морозное утро серые дымки над белыми крышами. Почему-то сон был страшен и вызвал тоску. Но чувствовалось, что и для этого сна была тоже какая-то причина, а ее он не мог угадать и потому нервничал. Хотел было лечь и опять заснуть на весь день, но потом одолела слабость. Да и не хотелось больше видеть снов. Уже три ночи снилось что-то страшное и непонятное. Оно забывалось, но на сердце было беспокойно весь день.

Степан Александрович вышел из дому. Еле-еле лиловел зимний рассвет. Люди шли посреди улицы, уступая дорогу автомобилям, худые, в странных одеяниях — в леопардовых шубах, в ковровых валенках, в телячьих куртках, в белых шапках с ушами ниже пояса. Почти

все имели посторонний придаток — санки. Если санки сцеплялись, люди останавливались и, не спеша, смачно обкладывали друг друга нехорошими словами. Иногда из форточки вылетал и падал ужасный сверток. Уборные не действовали. Зияли пустые витрины магазинов.

Иногда громко на всю Москву кто-то от голода и холода щелкал зубами. То трещал пулемет. Обучались стрельбе разные особые отряды. На перекрестке валялись издыхающие лошади.

В школе было сравнительно тепло. Ученицы всегда были веселы и приветливы. Казалось, прилетали они каждый раз на каких-то чудесных коврах-самолетах из сказочных стран, где текут в кисельных берегах молочные реки. В учительской преподаватели обсуждали газету.

— Мы опять отступили.

— То есть, кто это «мы»?

— Ну, красные.

— А, красные, да, отступили.

— У меня в квартире ноль градусов. Сплошной кошмар!

— Я вчера первый раз конину ел. И, вы знаете, ничего.

— В первый раз? Я уже давно ем.

— А вот Пантелеймон Николаевич!

Пантюша вошел с видом ласкового и гуманного начальника. В дверях тотчас начали мелькать девичьи лица.

— Господа, не толпитесь у дверей.

— Пантелеймон Николаевич, спросите меня сегодня!

— Господа, я спрашиваю тех, кого нахожу нужным спросить, а не тех, кто меня об этом просит.

Пришел француз и тотчас стал шептать всем на ухо:

— Могу достать сахар по две тысячи фунт, масло сливочное тоже две тысячи. . . вологодское. . . А вот не нужно ли кому золотое пенснэ?

Немка сказала:

— А я сама сделал термос. Из двух шляпных картонок. Прекрасно сохраняет теплоту пищи.

Естественник поглядел на Степана Александровича и спросил:

— Вы не больны?

У того вдруг стало тесно в груди.

— А что?

— У вас утомленный вид.

— Да. . . впрочем, сейчас все утомлены.

— Ах, не говорите. . . Это сплошная каторга!

— А знаете, говорят, Ленин сказал: мы уйдем, но мы так хлопнем дверью. . .

Раздался звонок.

Степан Александрович шел в класс всегда с некоторой опаской. Боялся неожиданных вопросов. История подобна морю, в котором события — суть капли. Разве все упомнишь? Особенно не любил он средневековье. Гогенштауфены по ночам снились. «Хорошо ему, — думал он, со злобой про Пантюшу, — Евгений Онегин да Тарас Бульба. А не угодно ли войну Алой и Белой розы запомнить, или про Гвельфов и Гибеллинов!»

Класс разделялся по составу на девушек с резко выраженным буржуазным происхождением и на юношей

со столь же резко выраженным происхождением пролетарским. Эти две группы относились одна к другой как-то равнодушно. Юноши вообще предпочитали заниматься уборкой снега. В особенности был один очень милый, но суровый парень, отличавшийся большой физической силой, по фамилии Груздев.

Однажды Степан Александрович спросил его, что такое римский папа. Подумав тот ответил: антихрист. И был осмеян девицами.

После урока он подошел к Степану Александровичу и сказал угрюмо, но добродушно:

— Вы уж меня лучше не спрашивайте, я этой науки все равно не выучу. Я лучше вот с крыши пойду снег сбрасывать. . .

В это ясное зимнее утро начался как обычно урок.

— Назарова!

Очаровательная девушка, в стиле двадцатых годов прошлого столетия, встала, опираясь о парту, и сразу начала:

— Мария-Терезия никак не могла забыть потери Силезии. . .

Степан Александрович слушал, глядя одним глазом в учебник.

— Она была умная и добрая государыня и отлично понимала. . . и отлично понимала. . .

Назарова замерла.

— Ну-с. . . что же она понимала? . .

— Мария-Терезия понимала, что ей никак нельзя забыть потери Силезии. . .

В это время весь класс устремил глаза на дверь.



Степан Александрович тоже поглядел и вздрогнул.

За стеклом двери стояли: Марья Петровна, Пантюша Соврищев и еще какой-то человек с большою черною бородою, но старый, похожий слегка на Пугачева.

В тот миг, когда Степан Александрович оглянулся на дверь, она приотворилась, и неприятная троица вошла в класс.

Ученицы встали, а некоторые даже присели начальнице, при чем Пугачев усмехнулся и стал утюжить себе бороду. Вошедшие сели на стулья возле доски.

Лососинов понял — ревизия.

— Концова, — произнес он, густо багровея.

— Мария-Терезия не могла забыть потери Силезии, — затараторила откуда-то сзади худенькая девчечонка, — ибо она понимала, что ей. . . извиняюсь. . . кх. . . (она сделала паузу). Мария-Терезия не могла забыть потери Силезии. . .

Наступило жуткое молчание. Степан Александрович принял вид величавого неудовольствия. Он вспомнил свои гимназические годы, как важно держался у них историк, и постарался подражать ему.

— Мы уж это слышали.

Молчание.

— Больше вы ничего не имеете сказать?

Молчание.

— Садитесь. Пантамбаева!

Стройная армянка, бледная, с огромными глазами, медленно поднялась.

— Мария-Терезия не могла забыть патэри Силезии. . .

— Позвольте! — раздался вдруг за спиной Степана Александровича корявый насмешливый голос, — вы мне вот что скажите, зачем вам знать нужно про эту самую Марию-Терезию и про ее эту Силезию? А?

Класс замер, а Степан Александрович чувствовал, что сваривается заживо в собственном соку.

— На кой чорт вам знать про эту самую Марию-Терезию? А?

— Она королева была, — слышался чей-то звонкий голос.

— Ну и плевать, что королева. . . Мне какое дело? . . . Зачем же про нее учить-то? .

— Так нужно, — сердито закричали ученицы, чуя, что вот это-то и начинаются обещанные школьные новшества. Решили постоять за старую школу.

— Так нужно, — передразнил бородач, — а может быть не нужно.

— Нет, нужно! . .

— А вдруг не нужно? А вот вы, красавица, громче всех кричите. . . А скажите мне на милость, вы самовар ставить умеете?

— Умею.

— А ну-ка посмотрим. . . Расскажите, как вы его ставить будете. . .

— Налью воды. . . Наложу углей. . . лучину возьму. . .

— Сразу воду нальете? . .

— Да.

— Ну и неправильно. Вытрясти его сначала надо-с. . . Вот-с. . . И это вам знать важнее-с, чем про эту самую Силезию.

— Мы не кухарки, — крикнул кто-то.

— Нет, кухарки. Кухарки, портнихи, судомойки... А Марию-Терезию вы свою пока забудьте... Да-с! И всяких этих своих королей да королевичей...

Раздался звонок.

Класс недовольно шумел.

Страшный бородач совершенно спокойно, как будто он и не чуял поднятого им неудовольствия, шел в учительскую, утюжа бороду.

— Иконкам всё молитесь, — ткнул он в угол коридора.

Пантюша внезапно щепнул на ухо Степану Александровичу:

— Это новый инструктор объединения, я сказал, что ты марксист.

В учительской панически молчали преподаватели.

— Садитесь, пожалуйста, — говорил Пантюша, — вот это все наши школьные работники.

— Так, государи мои, нельзя-с, — произнес инструктор, сядя в кресло; — вы все по-старинке «от сих до сих», «в прошлый раз мы говорили», да «к будущему разу возьмите». Это все нужно теперь забыть-с! К чертям-с! Вот оторвалась у вас подошва — вы ее взяли да по поводу нее об обуви в различные времена и у разных народов... А сапожника инструктора вызовите, чтоб тут же показал, как подметки ставить. Вот — это урок... А эти фигли-мигли вы бросьте!.. Все эти ваши Виноградовы, да Платоновы... Тьфу!

И он плюнул огромным плевком прямо посередине учительской.

— Я, знаете, предупреждаю... я, кстати сказать, не коммунист, так что вы на меня волками не смотрите, я предупреждаю, что, ежели еще подобное увижу... учебники, да «от сих до сих», я церемониться не буду... В два счета в отставку... Чтоб все было построено на трудовых процессах... пример я вам привел насчет подошвы... (он вышел к столпившимся у дверей ученикам). А вам, красавицам, мой совет старух столетних из себя не корчить. Вам нужно носиками вашими к духу времени принохиваться. А это и оставить можно.

И он сделал иронически реверанс.

Некоторые засмеялись, но другие сердито зашипели.

— Все равно учебниками вам пользоваться не позволят и уроков зазубривать тоже... Довольно-с!.. Ручки ваши, может быть, от этого и пострадают, зато сами же потом благодарить будете... Прислуг-то теперь держать не придется... Надо теперь все самим-с... Извольте сами классы подметать и все прочее. До нужника включительно. Да-с!..

— Мы не для этого в школу поступали.

— Извините-с. Именно для этого. Ну-с, до свидания! Заседания объединения будут по вторникам в три. Стало быть, сегодня. Чтоб были представители и от учащихся и от учащихся.

И, кивнув головой, он ушел.

Нечто в роде немой сцены из «Ревизора» произошло после его ухода в учительской.

Естественник стоял в позе мученика, только-что подвергшегося заушению. Математик растопырил руки и

тупо глядел на Марью Петровну, которая, в свою очередь, замерла, уставившись на Пантюшу.

За дверью шумело девичье море.

Три девушки — члены школьного совета — вошли в учительскую, красные и взволнованные.

— Мы хотим учиться по-старому, — заявили они робко, но настойчиво.

— Успокойтесь, — строго и спокойно сказал Соврищев, — учиться вы будете так, как это нужно. . .

— Нужно, как прежде. . .

— Ступайте и не волнуйтесь.

И Пантюша, затворив за девушками дверь, преспокойно закурил папиросу.

— Что же это такое? — пробормотал естественник. — Ведь это ужас. . . Я преподаю двадцать восемь лет. . . Никто не говорит, что не надо трудиться.

— Честь и слава всем трудам! — сказал метаматик грустно.

— Терпение и труд все перетрут, — заметила немка.

— Il faut travailler, — произнес француз, перекладывая из одного кармана в другой коробку с сахариновыми порошками.

— Да, но все это говорилось в другом смысле.

Степану Александровичу вдруг пришла в голову шальная мысль, а ну как его заберут за то, что он учил не так, как надо, да еще про королеву. Ему стало не по себе.

— Господа, — сказал Пантюша, — я не понимаю, что вас так смущает? (он понизил голос). — Ясно, что мы будем преподавать так, как умеем и как мы считаем

нужным. . . Слава обгу, у нас у всех есть педагогические принципы, тщательно нами продуманные и проверенные на более или менее продолжительном опыте. . . Я думаю, что мы свои принципы не будем менять как перчатки. . . Ну, а когда он будет приходить на уроки, я думаю, что это будет не так часто, — можно для виду. . . ну заставить всех дрова пилить и в это время говорить что-нибудь по этому поводу. . . Вы, например (отнесся он к естественнику), говорите что-нибудь о древесине. . . вообще о лесе. . .

— Это, конечно, можно,—произнес мученик, слегка улыбнувшись.

— Вы, например, как математик можете что-нибудь об окружности. . .

— Мы проходим стереометрию. . . Могу рассказать о цилиндрических телах. . .

— Ну вот великолепно. . . Степан Александрович расскажет в связи с пилкою дров. . . например, об аутодафе или о Иоганне Гусе. . . Я могу что-нибудь про Некрасова. . . у него постоянно мужички за дровами ездят. . .

— А ведь это в самом деле! — сказал математик.

Все переглянулись и усмехнулись.

Марья Петровна протянула Пантюше руку.

— Золотая голова, — сказала она.

— Ну что вы! — отвечивал тот, целуя протянутую руку, — просто я болею душою за школу и за родное просвещение.

Степан Александрович, поддавшись на миг общему настроению, чуть-чуть было не спросил: «а как ты

думаешь, нас за сегодняшние уроки не посадят?», но удержался, вспомнив, кто перед ним. И однако, он это ясно чувствовал, на Пантюшу была теперь вся надежда.

Но судьба готовила в этот страшный день педагогам новое испытание.

Отворилась дверь, и в учительскую вошли три паренька в валенках (из присоединенных). То были Шустров, Прядов и Микиткин. Они держали в руках бумагу в роде прошения или заявления, написанного крупным почерком по ново-старому правописанию. «Заявление», например, написано было через «ять» так же, как и «требуем». А «хлеб» через «е».

На мгновение повторилась немая сцена.

Пантюша не совсем уверенно взял бумагу.

— Хорошо, — сказал он, прочтя ее с полным спокойствием, — мы сейчас это обсудим. Ступайте!

Но те не ушли.

— И мы будем обсуждать, — сказал, глядя в пол, Микиткин.

— Пожалуйста... Я тогда оглашу бумагу: «Заявление».

«Настоящим мы требуем:

Первым на перво: организовать при школе ком-ячейку.

Вторым на перво: чтоб учиться, как сказано.

Третьим на перво: иконы снять.

Четвертым на перво: хлеб делить самим, а не экономке. Такой есть тоже закон.

И вообще чтоб в школьном совете состоять, как прочие члены».

Пантюша смолк.

Наступило гробовое молчание.

— Ну что ж, — сказал он, — это все требования справедливые. Мы не возражаем. Неправда ли?

Все молчали, потупившись.

Парни молча повернулись и вышли.

Марья Петровна не выдержала и погрозила им вслед своим пухлым дамским кулачком.

— Марья Петровна, не волнуйтесь, — сказал тихо Пантюша, лоя и целуя этот кулачок, — пусть делают... Не будем обострять отношений.

— Да, но ведь это же разрушит всю школу... наши традиции...

— Марья Петровна, милые и дорогие коллеги... не будем падать духом.

И, доведя свой голос до трагического шопота, Пантюша прошипел:

— У меня есть точнейшие сведения из вполне достоверных источников, что через две недели все кончится... все подмосковные мосты уже минированы, Кремль также... Ну пусть повеселятся две недели...

На мгновение все лица просветлели.

— Па-ни-маю! — сказал математик.

— И я тоже слышала, — подтвердила немка, — про мосты я не слыхала, а что через две недели...

— Да иначе и быть не может, — сказал естественник, — иначе это было бы неестественно...

Раздался звонок.

— Завтра-каты! — заорал кто-то в коридоре, и сотня ног затопотала мгновенно по лестнице.



Преподаватели все как-то тоже рванулись, но тотчас овладели собою и пошли чинно.

— Но что бы мы делали без Пантелеймона Николаевича? — услышал Степан Александрович позади себя голос Марьи Петровны.

— Об этом даже страшно подумать! — отвечал естественник.

А Пантюша шел, улыбаясь, по лестнице и со всех сторон пищали тоненькие голоса девочек из школы первой ступени, помещавшейся в одном этаже со столовой.

— Здравствуйте, Пантелеймон Николаевич! Пантелеймон Николаевич, я у вас на будущий год учиться буду! Пантелеймон Николаевич!

А Пантюша шел, глядя девочек по головкам, трепля их за щечки.

— Тише, дети мои, тише!

Француз, опередивший всех, имел восторженный вид.

— Господа, сегодня мясной пшенный суп!

То был счастливый миг.

Из мисок шел пар, нарезанный четверками хлеб лежал чудесной грудой на подносе и вдруг стало уютно и весело, как будто сидели не у окна в казенной гимназической столовой за простым деревянным столом, а в светлом зале бывлой «Праги», и не пшенный с черным хлебом суп ели, а уху из стерлядей с вязиговым из калашного теста растегаем.

Француз вынул из кармана пузырек и вылил что-то в суп.

— Это что? — удивилась немка.

— Жидкое магги. Сообщает пище здоровую пикантность. Если хотите могу достать. Такой вот пузырек — пятьсот рублей. Это мне с моей родины посылают.

— А вы где родились?

— Я родился в Гренобле, но уехал оттуда, когда мне был год. Родиной я считаю Торжок.

— Интересно, когда-нибудь найдут способ жить без еды? — спросила немка у естественника.

— Не думаю, — отвечал тот, и видно было, что мысль эта ему в данный момент неприятна: — к чему лишать человека вкусовых ощущений?

— Чтоб избежать порока жадности, — отвечала немка.

— Есть пороки гораздо более страшные.

— Например?

— Ну пьянство.

— Ах, это такой ужас!

— Вы знаете, — сказал естественник, — я дожил до шестидесяти лет и не знаю вкуса водки.

Пантюша улыбнулся.

— А я, — сказал он, — должен сознаться, один раз выпил маленькую рюмочку на именинах у тети. И то не водки, а наливки.

— Алкоголь есть яд! — сказал математик.

— Вино затемняет человеку ум! — подтвердила немка.

— От нее все качества, — вздохнула дама из свиты.

Степан Александрович вдруг ясно представил себе запотевшую от холодной водки рюмку. Но в этот день

было тяжело даже это чудное видение и как-то сами собой и очень просто выползли у него из рта слова.

— Для чего люди одурманиваются?

— Есть один еще более страшный порок, — взволнованно пролаяла старая девица из свиты, — это прелюбодеяние!

— Тише, пожалуйста, — строго сказала Марья Петровна.

Щеки почтенной девицы, напоминавшие обычно лимон, вдруг стали приближаться к цвету апельсина.

Все потупились, а Пантюша наставительно сказал:

— Апостол Павел советует и не говорить христианам о сих мерзостях!

— Вот это верно, — сказала Марья Петровна, и все поднялись, ибо миски были дочиста вылизаны, а блюдо опустошено.

Поднимаясь по лестнице, Марья Петровна сказала Лососинову:

— Меня просто тронуло, как хорошо Пантелеймон Николаевич знает катехизис.

Степан Александрович что-то промышчал. Он, разумеется, не мог сказать ей, что Пантюша из всего катехизиса знал в гимназии наизусть лишь главу о седьмой заповеди, вычеркнутую батюшкой. Это был единственный случай, когда он что-то выучил из интереса к предмету, а не из боязни кола.

В это время Соврищев прошептал ему на ухо:

— Смотри скорей наверх!

Лососинов посмотрел. Хорошенькая ученица Курочкина зачем-то наклонилась и на ее стройных ножках

над самыми коленками на миг пролиловели подвязки.

Но зрелище это нисколько не умилило и не растрогало Степана Александровича. Вообще, вследствие ли испуга, причиненного инструктором, или еще отчего-то, но чувствовал он себя как-то странно.

Сев на окне в учительской, он с некоторым удивлением глядел на преподавателей, продолжавших обсуждать событие... Какая-то мысль, еще не совсем ясная, медленно созревала в нем... Раздался звонок. Учителя, ежась от холода и позевывая после завтрака, пошли на уроки.

Пантюша обычно уходил последним. Почему-то ему казалось, что начальник вообще должен делать все несколько позже подчиненных (по ассоциации с капитаном судна, который спасается последним). Когда они остались вдвоем, Степан Александрович вдруг сказал:

— Пантюша! А ведь это подлость, что мы с тобой делаем.

— То есть? — удивился тот.

— Эти люди относятся к нам серьезно, эти барышни нам доверяют, думают, что мы можем их чему-то научить, а ведь мы на самом деле только втираем очки. Мы ведь ничего не знаем... Мы не имеем никаких педагогических взглядов, мы не умеем преподавать, ни по-старому, ни по-новому... морально мы представляем из себя чорт знает что... Человек, который соприкасается с детьми, должен быть чист душою... Это азбука.

— Чушь какая!.. Мне вот недавно рассказывали... Был один педагог старый, которого в округе даже прозвали святым... А когда он умер, у него в столе нашли такие открыточки...

— Ну и гадость! — вскричал Степан Александрович. — Нет, ты, пожалуйста, пойми меня... Весь урок я только думаю о том, как бы увильнуть получше от неожиданного вопроса...

— Велика штука! Я всегда говорю в этих случаях: это не вы меня должны спрашивать, а я вас... И кончено.

— И это гнусно. Ведь их все это в самом деле интересует... Они доверяют мне, я чувствую, что они уважают меня... А я играю перед ними подлейшую комедию.

— Слушай, голубчик, — с некоторым раздражением возразил Пантюша, — да ведь ты всю жизнь играл комедию... Ну для чего ты тогда потащился на фронт? Неужели действительно из-за того, что тебе захотелось спасти Россию и облегчать участь солдат? Просто думал прославиться на этом деле... Все равно кроме своей персоны ты никогда ничем не интересовался. Отрицал даже одно время существование других людей. Помнишь — селедкой в меня запустил?... И все мы так... Ну сидишь сейчас в школе, имеешь бумажку, завтрак, ну и довольно с тебя...

Степан Александрович был бледен.

— Да, — сказал он, — ты прав. Я всю жизнь играл комедию... Но теперь это пора кончить. Нельзя так жить. Это подло!

Соврищев с презрением поглядел на него.

— Не выдержала интеллигентская душа, — произнес он, — впрочем, черт с тобой!

И ушел из учительской.

В учительской было довольно холодно.

Степан Александрович дрожал мелкою дрожью... Он пошел в переднюю и надел шубу. В кармане он нашел два куска хлеба, завернутых в бумажку — ученицы положили. Эта находка его еще больше расстроила. В шубе стало немного теплее и, потираясь щеками о мягкий котиковый воротник, постарался он, хотя бы ради этих двух кусков хлеба, ясно представить себе, в чем задача педагогики. Но ничего не мог себе представить, кроме двухсветного гимназического зала, по которому он бегал некогда веселый в серой курточке, и еще швейцара, стоящего со звонком в ожидании надзирателя. Милое детство!

«Вот сегодня будет заседание объединения, — думал он, — может быть, что-нибудь и выяснится из обмена мнений».

---

Заседание было назначено в три часа и происходило в зале бывшего реального училища, почти рядом.

Соврищев и Лососинов должны были присутствовать как председатель и секретарь.

В ожидании трех часов они сидели у себя в учительской, но не разговаривали. Школа опустела. Во всем здании было тихо.

Пришла экономка интерната и принесла им по тарелке винегрета. Роскошное блюдо по тому времени.

Но Степан Александрович почти не притронулся к своей тарелке. Ему был как-то даже противен вид этого красивого кушанья. Поэтому Пантюша съел обе порции. Затем они пошли заседать.

Реальное училище вовсе не отапливалось, в зале заседания стоял холодный сырой туман. За длинным столом усаживались педагоги и представители от учащихся. Страшный инструктор ввалился вдруг, стуча ботиками и утюжа на ходу бороду. Интересно было знать, улыбался ли когда-нибудь этот человек? Но улыбка на этом лице была бы очень странным и жутким явлением.

— Ну-с, товарищи граждане, — произнес он, садясь и оглядывая бородатые тусклые физиономии, — извиняюсь, что опоздал, задержал сам, изволите ли видеть, Луначарский. . . Сами понимаете, от министра не удержь, как Подколесин от невесты. . . Так вот сегодня у нас вопрос о новых методах. . . По поводу последнего циркуляра. Кому угодно высказаться?

Он умолк, и все молчали, переглядываясь исподлобья. Некоторые перешептывались. Инструктор стал выражать нетерпение. Он заерзал на стуле, и взгляд его стал саркастичен и злобен. Но в тот миг, когда он собирался, повидимому, отпустить какое-то ядовитое замечание, самый поблекший и самый унылый на вид педагог неожиданно сказал:

— Я бы попросил. . .

— Пожалуйста.

Однако молчание долгое время еще не нарушалось. Наконец, педагог откинулся на спинку стула, плечами

поднял воротник шубы до уровня ушей и начал говорить глухо и равномерно, без интонаций и даже не считаясь со знаками препинания.

— Помню давно, давно еще будучи ребенком и живя с родителями на хуторе у своих родных в Курской губернии. . . Сам я москвич, но со стороны матери у меня есть родные малороссы. . . Так вот, живя на хуторе, имел я, подобно многим другим детям, обыкновение гоняться в поле за бабочками. . . У меня был сачок и зеленая коробка, которой я очень гордился. Коробка эта сохранилась у меня до сих пор. Вот Евгений Петрович знает довольно хорошо эту коробку.

— Жалко, что не принесли, — пробурчал инструктор, становясь все мрачнее.

— Ну, она не так уже замечательна. Мне-то она дорога по воспоминаниям. И вот в ясные солнечные дни бегал я по полям, ловя бабочек, этих красивых представителей органического мира. . . Мир представлялся мне тогда таким прекрасным. . . И вот однажды, когда коробка моя была почти полна, увидел я бабочку из семейства подалириев, привлекающую меня своею удивительною раскраскою. . . я кинулся за ней и бегал до полного изнеможения. . . И помню, как судьба наказала меня за мою жадность. . . Я споткнулся, упал, коробка моя раскрылась, и все мои бабочки разлетелись во все стороны. . . Так, не поймав этой новой бабочки, я потерял и прежних. . .

Педагог умолк и долго молчал.

— Бывает-с! — иронически вздохнул инструктор, — когда падали, коленку не ссадили ли?



— Нет... Так вот я и хочу сказать. Школьная реформа напоминает мне эту бабочку. Как бы мы, гоняясь за ней, не остались вообще не при чем, как я тогда в детстве...

— Ну-с, а какой же выход вы предлагаете?

— Да никакого... Я только высказываю свои сомнения.

— Так-с... Еще кому угодно...

— Позвольте, я еще не кончил... Вот я и говорю, что, гоняясь за новым, мы можем утратить старое и, не поймав одного подалирия, потерять десять махаонов...

— Теперь все?

— Да... все...

Педагог закрыл глаза и затаих.

— Еще кому угодно?

— По-моему, — начал нервного вида человек, издали похожий на зубного врача, — надо немедленно закрыть все школы. Это безобразие заставлять детей учиться при ноле градусов! Надо сначала позаботиться о дровах, а потом вводить реформы...

— Об этом толковать нечего, ибо школы закрыты не будут...

— Все равно, я протестую... Я не могу требовать знаний от ребенка, который мерзнет и голодает. Это нонсенс!

— Совершенно верно! — раздались голоса.

— Об этом, государи мои, повторяю, нечего рассуждать. Школ не закроют... Прошу высказываться по существу дела.

— Позвольте мне, — сказал подслеповатый старичок, слегка картавя. — Я полагаю, что всегда можно найти компромисс. . . Мы все знаем недостатки прежней постановки дела. . . Ну, и будем постепенно отмечать все, что нам кажется ненужным. . . а незаметно вводить новое.

— Да что новое?

— Ну вот. . . этот циркуляр. Я, например, с детства любил физический труд, у меня дома есть даже верстачок. . . Пусть за уроками все что-нибудь клеют или шьют. . . Можно даже к партам приспособлять тисочки. . .

— Где вы их достанете?

— Ну, в это я входить не могу. . .

Наступило молчание.

— Еще кому угодно?

— Позвольте мне, — вдруг тихо, но твердо сказал Степан Александрович.

Он откашлялся и, не глядя ни на кого, страшно волнуясь, начал:

— Я полагаю, что самое главное во всех этих вопросах — это честное отношение к своему делу. Прежде, чем рассуждать, какая школа лучше, старая или новая, мы должны прямо задать себе вопрос: зачем мы преподаем. Затем ли, что нас увлекает дело просвещения, затем ли, что мы хотим действительно работать на пользу нового поколения, или нас просто привлекает бумажка, спасающая от домового комитета, и те деньги, которые нам платят? Я знаю, что многие сейчас стоят на точке зрения «чем хуже, тем лучше». . . Пусть, мол, все скорей разрушится и тогда скорей опять все вос-

становится. . . Ну пусть так говорят те, кто имеет дело, я не знаю, ну с транспортом, с продовольствием. . . Но ведь мы-то имеем дело с детьми, господа. . . Они-то не виноваты в том, что кому-то нравятся, а кому-то не нравятся большевики. . . То-есть, я хочу всем этим сказать, что, если мы подойдем к школьной реформе чисто формально и начнем ее проводить без всякой критики, то мы поступим нечестно. . . И напротив, если мы будем из упрямства противиться ей и сознательно, нарочно разрушать школу, то мы поступим тоже нечестно. . . Если мы любим свое дело, хотим ради него бороться, давайте это делать. . . Если же нет, перейдемте служить в какую-нибудь канцелярию, где мы получим те же деньги, не вступая в компромисс со своей совестью.

Он умолк.

Все молчали, удивленно и насмешливо глядя на него.

Лицо у инструктора расплылось вдруг в добродушную улыбку. Оказалось, что ради улыбки перестраивалась на особый лад вся его физиономия, и из Пугачева превращался он в картинку при стихотворении «Ну тащися, Сивка».

Молчание не нарушалось, но до слуха Степана Александровича вдруг донеслось еле слышно: «карьеру делает!»

Он не вздрогнул, ибо и так дрожал все время мелкою дрожью, а только повел плечом.

— Я вот задаю себе сейчас такой вопрос. . . Имею ли право я оставаться здесь и обсуждать реформу? . . И смело отвечаю: «нет!»

И среди мертвой тишины он вышел из зала.

## ГЛАВА VI

### СЕРЫЙ ДЫМОК

Уже совершенно стемнело. Было холодно, и началась метель. Снег еще не шел, но края крыш уже курились снежными смерчами. Люди с санками шли угрюмо и сосредоточенно, глядя под ноги, с завистью посматривая на тех счастливцев, которые входили в подъезды домов. «Уже дошел. А мне еще сколько итти?»

Шли красноармейцы и пели песню, которую заглушал крепчавший ветер.

Степан Александрович шел и удивлялся тому, что ему вовсе не хочется домой. Ему бы, наоборот, хотелось брести так очень долго, ибо внутри у него горело, а холодный ветер так хорошо освежал. На бульваре он сел на скамейку и сидел часа два, пока, наконец, не явились какие-то люди и не сказали: «а ну-ка встаньте, товарищ!» Люди взяли скамейку и понесли ее на грузовик, где лежали другие скамейки. Грузовик уехал, увозя скамейки. Степану Александровичу вдруг стало совсем жутко. Он подумал о том завтрашнем дне, который неминуемо придет. Так-таки и тащиться изо дня в день.

«А ведь правильно сказал Соврищев, — подумал он, — я ведь действительно все делал всегда только ради себя».

И ему представился вдруг тот призрак его самого, который некогда создал он своей мечтою: знаменитый, богатый, уважаемый и признанный всем миром.

Ему неожиданно стало весело. Он засмеялся, чем обратил на себя внимание двух женщин.

— Вон еще иные смеются. . .

Он пошел по каким-то неизвестным переулкам, где было пустынно и мрачно.

Ноги уже сильно заплетались, но домой не тянуло.

Вдруг в большом подъезде с колоннами увидел он женщину, сидевшую в углу с младенцем на руках. Младенец пронзительно кричал, а женщина шипела и качивала его, утирая глаза свободною рукою.

— Отчего он так плачет? — спросил Степан Александрович.

— Видите, замерзает! — сердито отвечала та.

Степан Александрович взгляделся и увидел, что ребенок был действительно покрыт только жалким тряпьем.

Он снял с себя шубу и подал ее женщине.

— В кармане есть два куска хлеба, — прибавил он, наслаждаясь прохладой, его окутавшей.

— А вы-то как же? . . господин. . .

— Мне и так жарко.

Пройдя еще несколько пустынных переулков, он сел на случайно еще не сожженную дворницкую скамейку. Перед ним был ярко освещенный особняк. Если бы сейчас шел тринадцатый год, можно было бы подумать, что в особняке бал, фрукты, барышни, цветы. Тогда-то зародился призрак и был он так близок, так действителен.

Из ворот особняка вышел человек с портфелем.

Он поскользнулся и упал.

— Ушиблись? — участливо спросил его Степан Александрович, поднимая ему портфель.

— Нет, ничего. Спасибо.

Человек удивленно глядел на Лососинова.

— Лососинов?

— Да.

— Не узнаешь? Не узнаете? Мешков... С бородой меня, правда, трудно узнать... .

— Мешков. Ну, как же! Отлично помню. Мешков — первый ученик!

— Да вы что? Ограбили вас, что ли?

— Нет... Я просто так... Мне тепло. Так вы Мешков?

— Какое к чорту тепло. Морозище и ветер к тому же. Вы бы домой шли.

— Дома мне делать нечего... Я вот тут сижу... Давайте вспоминать.

— Послушайте,—сказал Мешков, взяв его за руку,— вы больны?

— Нет, нисколько.

— Конечно больны! Где вы живете?

— Где-то там... Наплевать в общем, где я живу... Помните, как мы любили за столбами ходить для карты.

— Ну еще бы... только... право... Нельзя в таком виде по улицам бродить, ведь вы же замерзнете... Скажите ваш адрес!..

— Арбат, Спасо-Щегловский... восемь... .

— Далеко... Вы вот что... зайдемте ко мне... я вам дам... куртку что ли... потом пришлю за ней. Так невозможно. Я вон тут рядом живу. В большом доме.

— Ну что ж, я пойду. . . Если это, конечно, удобно.

— Удобно. . . я холостяк. . . Только вам надо немедленно врача. . . Уж идите скорее. На вас лица нету.

Они поднялись по темной лестнице.

— Вот куртка, — сказал человек, когда они вошли в маленькую комнату с диваном и двумя стульями возле кривого стола. — Она довольно теплая, из теленка. Это нам выдали. Скажите, у вас тифа не было?

— Нет.

— Гм. . . Дайте адрес. . . или лучше уж я вас доведу. . . Вы итти-то можете? . .

Степан Александрович сел на мягкий диван и вдруг сам для себя неожиданно лег.

— Могу, — прошептал он, сладко потягиваясь.

— Вы отдохните. . .

— Заметьте это, — вдруг перебил его Степан Александрович, — а ведь если бы все люди были абсолютно честные и думали только о справедливости, то прекрасна была бы людская жизнь. . . Но только как сделать так, чтобы все стали честными?

— Чудак, чего захотели. Да из-за этого в мире спокон века весь кавардак происходит. Попали пальцем в небо.

— А по-моему можно это сделать. . . Надо только все время об этом думать. . . Я вот всю жизнь думал о разных вещах. . . а о важном. . . о самом важном не думал. . . А теперь я буду думать и придумая. . .

— Уж вы лежите. . . Слушайте. . . Я сейчас схожу в соседнюю квартиру. . . там живет врач. . . Все-таки посоветует, что и как.

Мешков вышел из комнаты.

Степан Александрович лежал на мягком диване и говорил, пощелкивая себя по виску:—Вот я отдал женщине пальто, вы даете мне куртку, это вот справедливость. . . Понять это очень просто, но нужно, чтобы все поняли. А за сим, как говорил физик, приступим к рассуждению на тему о смерти. Я, предположим, умру, а ребенок, которому я дал шубу, будет жить. По существу не все ли равно, жизнь или смерть? Ведь если взять все кладбища и все гробницы во всем мире, то покойников окажется в миллион раз больше, чем живых. Вы знаете, что мне пришло в голову: живые это интернациональное меньшинство.

— У вас что болит? — спросил чей-то незнакомый голос.

Лососинов с трудом открыл глаза.

Лысый человек в очках был похож немного на Ана-тэму.

— Мне очень приятно лежать.

— Гм. . . Голова у вас болит?

Но Степана Александровича не интересовал этот разговор. Он снова закрыл глаза.

«Нехорошо только, что мертвых зарывают в землю,— сказал он, — сжигать гораздо лучше».

И вдруг сама собою объяснилась причина утренней тоски. Ему представилась Москва в ясное морозное утро. Над снежными крышами неподвижные серые дымки. . . Хорошо и вовсе не страшно стать таким тоже дымом и в морозное утро застыть под самым небом. . . Может быть, там встретится тот счастливый призрак...



Он вероятно будет сиять, как огонь, и на него больно будет смотреть... Вот он близится. И уже в глазах в самом деле горят золотые и зеленые огни.

Он открыл глаза.

В комнате было темно, но какие-то светлые тени пролетали по потолку.

— Что это, — спросил Степан Александрович, — на потолке?

— Лежите смирно, — отвечал голос, — это автомобиль в переулочек заворачивает... Я потушил свет, чтоб вам было спокойнее. Сейчас приедут за вами.

— Хоронить?

— Ну зачем хоронить! Поправитесь великолепным образом. Только уж молчите!

Но Степану Александровичу хотелось говорить.

— Я, знаете, — сказал он, — только сейчас понял смысл жизни.

— Да уж я вижу — вы лучший русский человек... Горе с вами...

— Смысл жизни в том, чтоб делать свое хотя бы самое маленькое дело... но делать честно.

— Открыл Америку!

— Что ж, если для меня она не была еще открыта. И надо быть обыкновенным человеком... Знаете, совсем простым... без всяких запросов... без всяких Наркомпросов...

— Лежите вы, а поправитесь, будете это свое маленькое дело делать... Ладно!

— Да, да. Ты будешь ко мне по вечерам приходить чай пить... Я женюсь на простой девушке... т. е. все-

таки пусть она будет со средним образованием, но, понимаешь... без штук... И будут приходить друзья... тоже совсем обыкновенные и честные... и шутки будут такие простые, но смешные... Скажи... что ты мне положил на грудь? Мне трудно говорить.

— Ничего не положил. Помолчи!

Он опять закрыл глаза и опять увидел дымки над московскими снежными крышами. Один маленький дымок был особенно мил и уютен... И что-то было в нем даже родное и знакомое. Чтоб не терять из виду этот дымок, Степан Александрович не открывал больше глаз. Он не открыл их даже тогда, когда его подняли и понесли, приятно раскачивая.

«Меня везут в больницу, — подумал он, — это очень хорошо. Мешков молодец. Вообще все очень хорошо».

Почувствовав свежий морозный воздух, он на миг открыл глаза и увидел прямо над собой яркие зимние звезды.

«Значит, метель кончилась и итти домой будет легко, — подумал он. — Какие яркие звезды. Вот... вот в чем дело. Я же говорил, что это очень просто».

Он с трудом приподнялся.

— Тебе чего? — спросил, наклоняясь над ним, Мешков.

— На звезды надо смотреть. Чаше смотреть на звезды!

И, прошептав это, он с удовольствием лег, а дымок все разрастался и вот уж черной тучею окутал вселенную...

Возвращаясь из больницы, Мешков долго стоял на углу своего переулка и смотрел на ясное ночное небо.

— Гм! — сказал он, — если поправится, нужно будет в самом деле зайти к нему как-нибудь вечерком.

---

На этом обрывается рукопись.

К о н е ц .

## ОГЛАВЛЕНИЕ

---

Стр.

Вместо предисловия. Кто такой Сергей Вахнович Кубический . . . . .	3
Введение. О психологии, о ее методах и ее пользе . . .	6
Часть первая. Давнопрошедшее (Plusquamperfectum) . .	11
Глава I. В которой повествуется о возникновении в голове одного гениального человека одного гениального плана . . . . .	13
Глава II. Спор с дядей. Обсуждение плана . . .	18
Глава III. Как Степан Александрович Лососинов и Пантюша Соврищев посетили знаменитого Ансельмия Петрова. Рассказ извозчика о таинственном барине . . . . .	23
Глава IV. Государственная опасность. Легенда о жестоком рыцаре. Дама в пенснэ и барышня без пенснэ . . . . .	34
Глава V. Стоп машина! Пробел в рукописи. Неожиданное событие . . . . .	42
Часть вторая. Прошедшее совершенное (Perfectum) . . . .	47
Глава I. Великая суматоха . . . . .	49
Глава II. Палки в колеса . . . . .	57
Глава III. Молния в мозгу . . . . .	61

	Стр.
Глава IV. Рубикон перейден . . . . .	66
Глава V. Зачем Лососинов прыгал на форте- пиано . . . . .	72
Глава VI. Тайна Лососинова . . . . .	76
Глава VII. Удивительная дама . . . . .	80
Глава VIII. Исторический день . . . . .	94
Глава IX. Еще исторический день . . . . .	101
<b>Часть третья. Прошедшее несовершенное (Imperfectum).</b>	<b>119</b>
Глава I. Очки унижения . . . . .	121
Глава II. Многоголовая гидра контр-революции .	129
Глава III. Многоголовая гидра контр-революции .	136
Глава IV. Судьба-индейка . . . . .	143
Глава V. Страшный инструктор . . . . .	156
Глава VI. Серый дымок . . . . .	179

---

1 руб.

